

ОБРЕЧЕННОСТЬ

Сергей Герман



секретный фаворит

Сергей Эдуардович Герман
Обреченность
Серия «Секретный фарватер»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10399660

С. Э. Герман. Обреченность: ООО «Издательство «Вече»; Москва; 2015
ISBN 978-5-4444-7788-5

Аннотация

Почему тысячи русских людей – казаков и бывших белых офицеров – воевали в годы Великой Отечественной войны против советской власти? Кто они на самом деле? Обреченность – это их состояние души, их будущее, их вечный крест?

Автор не дает однозначных ответов, проводя своих героев через всю войну, показав без прикрас и кровь, и самопожертвование, и предательство. Но это не та война, о которой мы знаем и о которой писали в своих мемуарах советские генералы. Пусть читатель сам решает, нужна ли ему правда без прикрас, с горем и отчаянием, но только узнав эту правду, мы сможем понять и простить.

Содержание

Часть первая	5
Часть вторая	32
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Сергей Герман

Обреченность

Выражаю глубокую благодарность ветерану XV казачьего корпуса Герберту Михнеру, уряднику 5-го Донского полка Юрию Болоцкову, Зигхарду фон Паннвицу, детям и внукам Ивана Никитича Кононова, ветерану 5-го гвардейского Донского корпуса полковнику в отставке Михаилу Шибанову, российскому историку Сергею Дробязко, а также всем казакам, оказавшим помощь в написании этой книги.

© Герман С. Э., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

Часть первая

Я считаю, что эти люди, будучи врагами СССР, врагами страны, в которой я родился и вырос, все же воевали за свою правду, за свою Россию! Это была их вера, и она достойна уважения.

Автор

Февральская революция 1917 года и отречение Самодержца от престола ознаменовали конец единоначалия Донского войскового круга, привели к расколу в казачьей среде. Октябрьский переворот, учиненный большевиками, принес смуту в армейские части.

Фронт разваливался, никакой дисциплины уже не было. Офицеры гибли и от вражеского оружия, но более всего от зверских и бессмысленных самосудов, от рук бывших подчиненных. Солдаты безумствовали, срывали с офицеров погоны, пьянствовали, грабили и, прихватив оружие, бежали с позиций, чтобы успеть принять участие в разделе помещичьей земли.

Большевистское правительство прекратило военные действия против Германии и выпустило армию по домам.

На Дон пришла поздняя стылая осень. Становились короче дни, длиннее ночи. По утрам стелился молочный туман и зависал над Доном влажным одеялом. По блеклому небу ползли темные тучи. Накрапывал холодный косой дождь. Задул резкий, пронизывающий ветер.

Пересекая быстрину, к берегу двигался баркас. Прохор Косоногов налегал на весла. Он вместе с внуком Мишуткой рыбалил на зорьке. Но поклевка была слабой. Рыба уже ушла на илистое дно, в подводные ямы и бровки, затаилась в самых тихих местах. Баркас беззвучно раздвинул камыши. Ударился носом о мягкую землю. Покачиваясь на волне, развернулся к берегу боком.

Внук Мишутка за продетый сквозь жабры тальниковый прут поднял со дна лодки золотисто-красного сазана, покрытого блестящей чешуей. Дед и внук, гордые от сознания, что несут добычу, пошли домой. Увидели у ворот соседского куреня соседа Степана Чекунова.

Два года назад Степана мобилизовали на фронт. Тугой воротник шинели теснил ему бурую жилистую шею. Сказал дрогнувшим голосом:

– Доброго здоровья, Прохор.

– И тебе не хворать. Возвернулся, стал быть, атаманец?

Степан остановился. Достал кيسет, развязал его заскорюзлыми пальцами.

– Вернулся, сосед. Как тут у вас? Моя-то блюла себя?

Прохор затынулся, выпустил облако ароматного дыма.

– Табачок-то заграничный, сладкий. Ты не сумлевайся. Бабочка твоя жила в строгости.

Так что беги домой, обрадуй жонку.

Казак подхватился, затоптал окуроч. Быстрыми шагами зашагал к воротам собственного куреня.

Возвращались с фронта и другие казаки. Уставшие от войны, они не хотели драться ни с немцами, ни с большевиками и без сопротивления сдавали оружие по требованию небольших красных отрядов, стоявших заслонами на железнодорожных путях, ведущих в Донскую область.

Вернувшиеся на Дон фронтовики расходились по станицам и хуторам, прощались с офицерами, со своими полчанами. Отравившись дурманом большевистской пропаганды фронтовики беспечно лужгали семечки на крылечках своих куреней, весьма довольные тем, что не приходится больше тянуть надоевшую ратную ляжку.

Не желающие проливать «братской» крови обманутые казаки и не думали о том, что совсем скоро умоются они кровавыми слезами и будут горько рыдать над изничтоженными советской властью семьями, над разграбленными, сожженными куренями, над собственными загубленными судьбами. А пока вечерами собирались у кого-нибудь в курене, играли в подкидного, чинили сбрую и утварь, дымили самосадом, отъедались на домашних харчах.

Степан Чекунов в накинутаой на плечи шинели на вопрос о том, как там на войне, не спеша рассказывал:

– Одно название, что война. А на самом деле окопы, грязь, дождит каждый день. День мокнем, ночь дрожим. С утра популяли по окопам и опять сидим... мокнем. Правильно сделали эти большаки, что войну прикончили.

Собеседники – старик сосед и его сын, молодой, еще не служивший казак, – молча слушали. Хозяин куреня, тоже фронтовик, батареец, дымя самосадом, чинил сеть.

Сосед с интересом спрашивал:

– А энти, большаки, стал быть, счас вместо царя? Что ж они думают?

Степан отвечал со знанием дела.

– Теперича все! Войне конец.

Старик возмутился:

– Как это конец? А если германец к нам придет?

Фронтовики в один голос осадили соседа:

– Нам войны хватило! А ты можешь идти воявать. И сына с собой прихвати. А мы дома посидим.

Все же часть офицеров, помнивших о сорванных погонах и пережитых унижениях, были уверены, что перемирие будет недолгим.

– Погодьте троху, станишники. Ненадолго расстаемся. Скоро вас так запрягут, что сами нас на подмогу поκληчите!

После того как покончил с собой генерал Каледин, началась агония города. Иногородняя дума, к которой перешла власть, решила сдаться и ждала большевиков с хлебом-солью.

Казаки же решили защищать город.

В феврале 1918 года они собрались на Круг, который потом назвали «назаровским». Казачьи делегаты, собравшиеся в здании Новочеркасского станичного правления, утвердили на посту Донского атамана бывшего Походного атамана генерал-майора Анатолия Назарова. Председательствующий на кругу войсковой старшина Волошинов объявил:

– Господа! Предоставим слово Донскому атаману.

Зал дрогнул от взрыва аплодисментов.

И тут с шумом отворились двери. В зал вошел бывший есаул Николай Голубов, переметнувшийся на сторону красных. За его спиной маячили солдаты с красными лентами на смушковых папах, перепоясанные пулеметными лентами матросы. В кармане полушубка Голубова – браунинг на боевом взводе.

– В России произошла великая социальная революция, а вы тут штаны просиживаете! – крикнул он громким хозяйским голосом. – А ну встать!

Делегаты встали. Остались сидеть лишь атаман Назаров и Евгений Волошинов.

– Не орать здесь! – сказал Назаров холодным ровным тоном. – Кто вы?

– Я Голубов, командир отряда революционных бойцов. Выполняю распоряжения Донского казачьего комитета! – закричал Голубов и сунул руку в карман полушубка.

Назарову показалось, что стоящий перед ним человек – пьян.

– Нет на Дону такой власти, господин командир революционного отряда. Земли Дона подчиняются решениям Войскового круга и атамана.

Голубов стоял лицом к донскому атаману в своей лохматой папаше, полушубке без погон, перетянутом ремнями портупеи. Еще никогда Голубов не ощущал в себе такой страш-

ной силы и ярости. Даже самому стало немного страшно от этого ощущения. От слов атамана Голубова перекошило, он побледнел. Крикнул:

– Арестовать!

С атамана Назарова сорвали генеральские погоны, отняли шашку, ударили в лицо. Тут же стали крутить руки и Волошинову.

Арестованных отвели на гауптвахту. Прошла первая ночь. Утром затопали сапоги, захлопали тяжелые двери камер. Матросы и красногвардейцы все вели и вели новых арестованных. Привели архиерея Митрофания, генералов Усачева, Груднева, Исаева, полковников Ротта и Грузинова, десятки офицеров – войсковых старшин, есаулов, хорунжих.

В камере было холодно. Через разбитое стекло задувал холодный ветер. Назаров сидел в углу молча. Он не мог даже говорить, настолько велика была степень его потрясения. Полковник Ротт курил, стоя у решетчатого окна. Напрягая мышцы шеи, выталкивал изо рта колечки дыма. Хмыкнул:

– Нет! Ну какой же мерзавец этот Голубов! – загасив окурочек о подошву и шлепнув ладонями по голенищам сапог, изумленно покрутил головой.

– Вы же помните, господа, как на парадном смотре он подобрал с земли и поцеловал окурочек, брошенный государем! А сейчас он, видите ли, командир революционного отряда!

– Вы отчасти правы, господин полковник, – подал голос Волошинов. – Я знал Голубова еще с Японской. На фронте он настоящим героем был. Более пятнадцати раз ранен. В полку слыл первым разведчиком и первым же скандалистом. Начальство его чинами обнесло, вот он, обидевшись, и зачал с Подтелковым кашу варить. Про таких как Голубов говорят: на войне – герой, вне войны – преступник.

Остальные офицеры молчали, их сердца терзали неопределенность, страх, безнадежность.

На ночь Назаров устроился рядом с архиереем, дряхлым и немощным. Укрыл его своей генеральской шинелью. В темной и тесной камере был слышен храп, густой, трудный, с присвистами, с клокотанием. Назарову не спалось. Он долго слушал в ночи храп и тревожное бормотание спящих людей. Изредка его вызывали на допрос. Чернявый следователь в круглых очках допрашивал его без особого усердия, нехотя, будто для проформы. Что-то чиркал у себя на листочках. Уходил не прощаясь.

Однажды в полночь в коридоре затопали сапоги, загремели винтовки. Из камер вывели семерых: атамана Назарова, Волошинова, генералов Усачева, Груднева, Исаева, полковника Ротта и войскового старшину Тарарина. В темном коридоре у стен жался полувзвод красногвардейцев. Старшим – матрос с рябоватым лицом. На груди, крест-накрест, пулеметные ленты, на поясе – маузер.

Загребая кривоватыми ногами в брюках клещ, балтиец подметал заплеванной пол.

– Куда нас?

– Куда... Куда. В штаб Духонина! – хохотнул один из красногвардейцев.

Старший оборвал:

– Не мели чего ни попада. В тюрьму вас переводят. Пошевеливайтесь!

Вроде не обманул матросик. Повели той дорогой, что вела к тюрьме. Подмораживало. Под сапогами сильно хрустел ледковатый снежок. Прошли последний домик на окраине и вдруг свернули с тропинки, что вела к тюрьме. Впереди лежал Ростовский тракт.

Послышалась команда.

– Стой!

За спиной клацнули затворы.

– Раздевайтесь!

Генерала Назарова словно что-то толкнуло в сердце. Обидно стало, как в детстве. Обманули. Неужели так и закончится жизнь? Поднял глаза к небу. Вверху в россыпи синих

звезд светил месяц. А близко, сбоку от него прислонилась яркая крупная Венера. И потеплело на сердце. Ведь когда-нибудь это закончится?! Люди устанут убивать, и установится порядок. И начнется жизнь как жизнь, как у всех людей.

Матрос уронил себе под ноги чугунно-глухо:

– По врагам революции... – взмахнул маузером. – Пли!

Грянул залп, офицеры упали.

Подсвечивая себе заранее припасенным факелом, убийцы собрали в узлы одежду убитых. Переругиваясь и похохатывая, ушли.

Прошло полтора часа. На месте казни зашевелился Волошинов. У него были прострелены бедро и левая рука. Прочь! Скорее прочь от этого места. Подальше от холодных трупов. Белея в ночи исподним бельем, пополз наугад по тропинке. Дополз до ближайшей калитки. Дом иногородних Парапоновых. Пачкая кровью ступени, с трудом забрался на крыльцо. Из последних сил постучал в дверь. Через дверь раздался тревожный женский голос:

– Кто там?

– Откройте... Прошу... Я – Волошинов.

– Не знаем мы никакого Волошинова.

– Я ранен. Христом богом молю, помогите!

Дверь не открыли. Волошинов потерял сознание, затих.

Хозяйка накинула платок. Крадучись выскользнула в ночь.

Волошинов пришел в себя от топота копыт, конского ржания. Перед крыльцом трое верховых – казаки Петр Никулин, Василий Абрамов, Пшеничных. Соскочили с коней. Никулин сбросил с плеча винтовку, прижал приклад к плечу.

– Встать!

Волошинов, держась рукой за стену, стал приподниматься. Хлестко ударил выстрел.

– Ба-бах!

Пуля опрокинула человека в окровавленном белье, и он упал навзничь, разбросав руки. Бесчувственное тело подхватили за ноги и потащили по ступенькам. Голова билась о мерзлую землю, лицо в потеках крови волочилось по грязи. Тело притащили на место расстрела и бросили около трупов.

Набежали зеваки. Глазели на трупы. Волошинов снова шевельнулся. Он был еще жив. Кто-то побежал сообщить в милицию. Через час пришли трое рабочих завода Фаслера. Рабочий Карсавин в упор выстрелил Волошинову в глаз. Пуля разнесла затылок. Войсковой старшина Волошинов умер еще раз. Последний.

Через несколько месяцев его вдова пришла в дом Парапоновой. У той к тому времени отнялся язык. Умирала она долго и мучительно. У кровати сидел священник. Исповедовал. Но не дождался ни капли раскаяния. Парапонова лишь что-то злобно и мучительно мычала. И с этим мычанием, без покаяния, она и умерла.

Господь хоть милостив, но и справедлив. Каждому воздает по делам его.

Историю интересуют только факты. Слезы вдов, матерей и детей остаются только в сердцах близких людей.

Донской казак Евгений Андреевич Волошинов остался в казачьей памяти лишь как председатель Донского парламента, погибший во время кровавого заката революции. В сердцах близких людей он остался добрым и порядочным человеком, автором трогательных и лиричных романсов.

* * *

Власть в городе и на Дону безо всяких выборов захватил комитет революционной швали, который поспешил объявить себя областным исполнительным комитетом. Исполко-

мовцы заняли Атаманский дворец, распустили городскую думу, упразднили полицию, захватили телеграф и почту.

По всему Дону низложили атаманов. Все важное казачество и донское чиновничество – вдруг куда-то спряталось и исчезло. Но рядом с «областным исполнительным» комитетом появилось еще более страшное чудовище – Военный отдел. Отдел будто бы того же комитета, но – отдельная и более страшная власть над городом, состоящая из оголтелых крикунов из солдатского гарнизона. В Новочеркасске стояло два запасных солдатских полка, общим числом 16 тысяч.

В исполком полезли все, у кого была луженая глотка, жажда власти или жажда крови. Опьяневшая от крови и спирта орда заняла здание областного правления у крутого булыжного Атаманского спуска, и там круглосуточно кипел котел из солдатских революционных страстей – заседали, рвали глотки, выносили решения.

Рвали глотки большевистские вожаки – армейский поручик Арнаутов и есаул Голубов. Оба были совершенно бешеные. Голубов на солдатском митинге в Хотунке охрип, захлебывался пеной, призывая «покончить с казачьей гегемонией». Не отставал от него и Арнаутов. Его призывы – сплотить крестьянский фронт для укрепления завоеваний революции – кружили головы иногородним, многочисленным солдатам и матросам.

Казачье население Новочеркасска было враз сбито с толку. У себя дома на Дону они были объявлены чужаками! Нельзя было даже громко подать голос! И на улицах кричали: «Не верьте офицерам! Бойтесь казаков!»

Тех и других призывали бить, стрелять, вешать!

И к казакам неслись угрозы: «Доберемся до вашей земли! Довольно показавали! Теперь все равны!»

Пьяные и вооруженные солдаты бродили по улицам. Били витрины магазинов. Мочились в парадных домов. Грабили состоятельных горожан. На памятнике атаману Платову кто-то нарисовал эрегированный мужской член.

Однажды на пьедестал Ермака взобрался нетрезвый казак и в последней степени своего казачьего отчаяния захрипел простуженной глоткой:

– Батька, атаман! Что же ты стоишь и молчишь? Дай же ты Арнаутову по потылице за то, что он делает с Доном, сучий потрох!

* * *

Весной 1918 года под влиянием слухов о принудительном переделе земли всколыхнулся Тихий Дон. Петр Николаевич написал письмо кайзеру, в котором просил оказать военную помощь Всевеликому Войску Донскому, обещая в благодарность наладить снабжение германской армии хлебом, жиром, рыбой, кожей, шерстью, а также передать германским промышленникам пароходное сообщение, заводы и фабрики Донбасса. И слякотный апрель 1918 года развалил Дон на две половины.

К Ростову-на-Дону двинулись немецкие части, к Новочеркасску направились казачьи сотни из восставших станиц. В штабе Донской советской республики началась паника.

Подтелков, возглавлявший республику, заявил, что уходит на север Дона – в Хоперский и Усть-Медведицкий округа для мобилизации казачества на борьбу с врагами советской власти. Захватив с собой десять миллионов «царских» денег, вместе с казаками-фронтовиками и конвоем общей численностью около двухсот человек Подтелков ушел на север искать поддержку среди верховых казаков. Он не допускал даже мысли о том, что против него кто-либо осмелится поднять оружие. Однако он не учел того, что его имя среди казаков было уже давно проклято, как и имя Иуды.

В середине апреля казаки низовых станиц свергли большевистскую власть и захватили Новочеркасск.

В Новочеркасск стекались царские генералы – Алексеев, Деникин, Эрдели, Лукомский, Марков, деятели Временного правительства Милюков, Родзянко. Город заполнили офицеры, юнкера, кадеты. Генерал Алексеев спешно формировал Добровольческую армию. Атаман Каледин стягивал казачьи полки, возвращающиеся с фронта.

Казаки низовых округов погна́ли Подтелкова к границам области. Поредели ряды его конвоя, но сам Подтелков не сдавался.

– Ничего, скоро я буду вешать эту лампасную сволочь на всех телеграфных столбах! – ярился он, похлопывая нагайкой по голенищу хромового сапога.

Но 10 мая казаки догнали и окружили его отряд. Вел их бывший сослуживец Подтелкова по донской гвардейской батарее подхорунжий Спиридонов.

Утром на рассвете Подтелков и Спиридонов один на один встретились для разговора на кургане в степи. На голой его вершине было скорбно и тоскливо. Словно нищие на паперти никли стебли прошлогодней полыни. Степь у подножия кургана укрылась разноцветьем трав. Ветер суховей гнал по буграм бесшумные волны ковыля. Парили над степью рыжие коршуны, по-хозяйски зорко оглядывая степь. Грозно синела поднебесная даль.

На Спиридонове офицерские погоны. Новенькие. Не обмятые.

У Подтелкова в груди шевельнулась застарелая обида. Вечно он раньше его успевает. И в службе был первый, и чин офицерский получил. И сейчас словно царский червонец сверкает золотом погон.

Улыбаясь натянуто, сказал:

– Ну здорово, односум!.. Со встречей.

– Здравствуй, Федор.

Подтелков хотел протянуть руку, но увидел, что Спиридонов уткнулся глазами в землю. Крякнул досадливо. Достал кiset, дрожащими пальцами стал сворачивать сигарку. Подтелков затянулся дымом. Потянуло удушливо-крепким запахом ядерного самосада. Спросил:

– Вижу, погоны носишь. К старой жизни потянуло?

Спиридонов улыбнулся криво:

– А хошь бы и так? Што плохого в старой жизни?

Казаки из обоих отрядов, спешившись, ждали у подножия кургана. Говорили бывшие друзья долго, но никто не слышал их разговора.

После разговора Подтелков и Спиридонов разъехались в разные стороны и вернулись к своим отрядам.

Спиридонов вернулся смурной, на вопрос, о чем они говорили на кургане, коротко ответил:

– О жизни.

Под честное слово Спиридонова, что его люди не прольют казачьей крови, отряд Подтелкова сдал оружие. Поначалу спиридоновские казаки были настроены миролюбиво. Решили Подтелкова и его отряд оставить ночевать на хуторе Пономарева. Пленных вели по узкой дороге, заросшей кустами боярышника и шиповника. Дорога уходила в глубокую балку. Вдали показался хутор. Скрытые зеленью, замелькали крыши казачьих куреней. Неожиданно один из подтелковцев, растолкав товарищей, выхватил револьвер и бросился бежать. Только куда же убежишь от конного? Разве что на тот свет.

Пленных тут же обыскали. Нашли еще несколько револьверов, две бомбы. Тех, у кого нашли оружие, зарубили на месте. Казаки, еще недавно словоохотливые и благодушные, осатанели. Начали избивать пленных. Поднялся крик. Постепенно зверея, казаки хлестали пленных нагайками, били ножнами шашек, из дикой свалки доносились хрипение, вой и приглушенные крики.

Спиридонов, чувствуя, что с минуты на минуту казаки сорвутся и начнут рубить шашками уже по-настоящему, стреляя в воздух и срывая голос, пообещал, что утром Подтелкова и всех его людей будет судить трибунал.

Пленных повели на хутор. По дороге опять били, полосовали нагайками. На ночь всех заперли в сарае.

Утром был назначен суд. Судили тут же, на площади. Спешно организованный трибунал, состоящий из представителей хуторов, участвовавших в поимке Подтелкова, провел заседание. Тут же был вынесен приговор: командира отряда Подтелкова и его комиссара Кривошлыкова – повесить. Казаков, что пошли за ними – расстрелять.

В этот же день смертный приговор был приведен в исполнение на поле за хутором Пономаревым.

На краю свежерытой ямы поставили десять человек. Вызвавшиеся добровольцы прижали к плечам приклады винтовок. После команды «изготовься!» хищно клацнули затворы винтовок.

Толпа зевая притихла.

– Пли!

Грохнул залп.

Страшно завывала какая-то баба.

Тут же на краю могилы поставили следующую десятку. Потом следующую. Казаки убивали казаков. Страшно пахло порохом и свежей кровью. Одного из молодых казаков, стоящего с винтовкой в руках, стошнило.

В яму легло семьдесят восемь казаков. Ее набили доверху. Слегка присыпали глинистой землей. Она еще шевелилась, когда Подтелкова и Кривошлыкова подвели к виселице.

Все время, пока расстреливали казаков, Подтелков стоял к ним лицом, ободряя взглядом и словом. Связанные руки за спиной, разорванная гимнастерка без ремня, кожаная тужурка нараспашку. Ни тени страха или смятения не было на его крупном рябом лице. Вполоборота к нему стоял Кривошлыков в длинной, почти до земли, кавалерийской шинели. Его франтовато отставленная нога дрожала мелкой ознобной дрожью. Руки за спиной. Зубы мучительно сжаты.

За их спинами – перекладина из свежесрубленных сучковатых бревен.

Уже стоя с намыленной петлей на крепкой, бурой от раннего загара шее, сказал Подтелков своим убийцам со страшной смертной тоской в голосе:

– Лучших сынов тихого Дона кинули вы вот в эту яму...

Договорить не успел, из-под ног выбили табуретку. Жилы на его шее надулись, лицо посинело. Тело выгнулось дугой и обмякло. Следом за ним выбили табуретку из-под ног Кривошлыкова.

* * *

К концу апреля красные оставили почти весь Дон. Столица донского казачества начала оживать. Возникла острая необходимость создания областного казачьего правительства, и на 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей. Съехавшиеся со всех концов казачьи делегаты в офицерских и солдатских шинелях, чекменях, папахах, фуражках глазели на залитые светом залы, на люстры, на лепку потолков. Тарасились на бархатный занавес и светло-синие занавески. Дружно голосовали за новую жизнь папахами и форменными фуражками.

На второй или третий день с яростной и страстной речью выступил генерал Краснов.

– Казаки, Россия накануне гибели! Но казачество имеет достаточный запас сил для того, чтобы восстановить замечательный уклад старинной казачьей жизни, и мы, в противо-

вес большевистской распушенности и анархии, установим на наших землях твердые правовые нормы. Возрождение России начнется отсюда, с берегов тихого Дона.

Зал взорвался бурей аплодисментов, ревом, восторженными криками. В невысоком, но стройном, с гвардейской выправкой генерале казачьи делегаты увидели надежду на возрождение былой жизни.

Пятого мая Круг закончил свою работу. Избранный войсковым атаманом, генерал-майор Краснов пообещал навести на Дону порядок. Горожане, обрадованные тем, что к власти наконец-то пришел человек с твердой жизненной позицией, государственный и герой войны, высыпали на улицы, для того чтобы хоть краем глаза увидеть спасителя Дона.

Возвращающиеся в свои станицы делегаты пересказывали станичникам выступление генерала Краснова.

– Так прямо и сказал: «Теперь вижу – нужно было своевременно Россию оказачить»!

Один из слушателей, Андрей Петрович Нужин, слывший среди казаков вольнодумцем и книгочеем, покачал головой недоверчиво и сказал угрюмо:

– Эх! Смотрите, станичники, как бы Россия казаков не расказачила.

И отошел торопливо, пока никто не понял, что он сказал.

На тротуарах, во всю длину улицы, сколько видит глаз, стояли и шли люди. Горожане вывалили на улицы. Приветствовали и поздравляли друг друга. Всюду расфранченные дамы, мужчины в пальто, шляпах. Улицы, кабачки, рестораны, кафе и бульвар казачьей столицы пестрели группами нарядных офицеров. Синие, красные, черные, с лампасами и с кантами галифе и бриджи. Английские френчи, офицерские кокарды, лихо примятые фуражки, звон шпор, бряцание оружия, серебро и золото новеньких погон. Шутки, смех. Сладкие, полные надежд и мечтаний дни. В воздухе стоял запах кофе, пирогов и свежих булок.

По булыжной мостовой широким походным шагом, по привычке вытягивая носки, шагал поручик Сергей Муренцов.

Компания офицеров расположилась в небольшом ресторане на бульваре. В бокалах золотился янтарный коньяк. В чашках дымился черный кофе. Настроение у всех было приподнятое. Адьютант генерала Сиротина прапорщик Николаев, заметив Муренцова, перегнулся через перила и тонким срывающимся голосом закричал:

– Муренцов! Сережка, иди к нам! – Оборачиваясь к офицерам, торопливо захлебывался словами: – Господа, я вас сейчас познакомлю с поручиком Муренцовым. Отчетливый, должен вам сказать, стрелок, вы уж не нарывайтесь с ним на дуэль! – Пожимая руку Муренцову, говорил, заглядывая ему в глаза: – Я очень рад, Сережка, что ты жив! Прошли слухи, что ты в Москве. Надо отметить это дело. У нас армянский коньяк, «Отборный». Между прочим, поставлялся к столу Его Императорского Величества. Достал, исключительно пользуясь неограниченными полномочиями, гарантированными близостью к генеральскому телу. Кстати, разреши представить: Арсен Борсоев. Или просто Барс.

Щеголеватый хорунжий восточного типа, с топорщащейся щеточкой усов, улыбнулся весело, протянул руку для пожатия. Рука была сухая и горячая.

– Сергей, Арсен очень отчетливый вояка, в одиночку захватил батарею красных. И такой же гусар. Вчера в одиночку выпил половину ящика шустовского. Так что ты с ним на спор не пей!

Офицеры засмеялись шутке, сели за стол.

– Ты как оказался здесь? Когда прибыл? – теребил Муренцова адъютант Сиротина.

– Буквально вчера из Москвы. Там красные. Пришлось бежать к вам. Получил назначение на бронепоезд.

Офицеры громко говорили, перебивая друг друга. Каждому хотелось высказаться, поделиться той особенной радостью, так знакомой людям, объединенных одной целью.

Никто не думал о том, что через несколько дней или недель они могут очутиться на фронте. Война была рядом, но о ней мало думали. Все были опьянены осознанием близкой победы.

По мостовой зацокали копыта. В окружении конвоя показалась открытая машина. Муренцов увидел в машине невысокого генерала с черными закрученными усами. Впереди и сзади скакали казаки – восемь всадников. В серых черкесках, пригнувшиеся к гривам, на злых дыбившихся лошадях. Хищные и опасные, как дикие звери.

– Господа, генерал Краснов! – крикнул кто-то.

Загремели шашки, зазвенели шпоры, зашумели отодвигаемые стулья. Офицеры вскакивали, вытягивались. Кто-то закричал:

– Ура-аааа!

– Ура! Ура! Ура! – послушно подхватили офицеры. Золотые и серебряные погоны поблескивали на солнце.

– Ура-аааааа! – незвонко и как-то нестройно кричала толпа.

Горожане аплодировали. Муренцов видел затылки. Вытянутые шеи. Дамские шляпы с широкими полями. Фуражки с офицерскими кокардами. Золотые, серебряные погоны. Взлетела вверх чья-то подброшенная офицерская фуражка.

Машина с генералом и конвоем обогнула площадь и скрылась за поворотом. В воздухе остался стойкий запах бензина и конского пота.

Вечером в ресторане гостиницы Павла Епифанова гремела музыка – гуляли офицеры. У стеклянных дверей пьяные офицеры трясли швейцара.

– Где дамы, морда! – спрашивали нетрезвые голоса.

– Господа! Позвольте!

– Пойдем по номерам!

– Господа офицеры, идем по номерам!

Истошно завизжали женщины. Раздался звон разбитых стекол. Пьяная матерщина. Кто-то побежал – затрещали кусты. «Стой! Стой! Стреляю!» – и выстрелы, выстрелы.

Послышался конский топот – примчались казаки дежурной сотни. Снова мат. Окрики. Конское ржание.

– Ррррраааззойдись!

И так всю ночь. Наутро была объявлена мобилизация. На площади стояли куцые роты. Среди серых солдатских и офицерских шинелей мелькали черные гимназические шинели с серебряными пуговицами, студенческие фуражки. В ротах были офицеры и юнкера. Полковники командовали взводами.

Из казаков формировали отдельные сотни и полки. Формированием и организацией полка занимался местный казак Федор Назаров, во время Империалистической выслужившийся в прапорщики.

* * *

Рваные клочья тумана вставали над заваленными осенней листвой улицами, загаженным перроном вокзала, серыми каменными домами. Несмотря на ранний час в городе царила суматоха – ржали кони, бряцало оружие, раздавался громкий мат и крики команд. В тупике железнодорожных путей команда нижних чинов грузила в бронепоезд ящики с боеприпасами. Город лежал как на ладони: вдоль пологого склона тянулись ряды домов, каждый ряд ниже предыдущего. У вокзала виднелись кирпичные стены пакгаузов, складов, десятки железнодорожных путей. На путях неподвижные, застывшие паровозы, холодное железо вагонов. Фасады домов, стены привокзальных зданий прошиты точками пулевых отметин. Мертвые глазницы окон. Вздрыбленные стропила на развороченных снарядами крышах.

И еще – афишные тумбы на перекрестках, пестрые, будто оклеенные разноцветным лоскутом: прокламации, листовки, воззвания.

Холодный осенний ветер безжалостно трепал деревья, и они обреченно тянули к серому небу свои ветви, безжизненные, как руки умирающего человека. Воздух был полон сырой влаги, как это часто бывает осенью на Юге России. Балканский циклон, прозванный на Дону «низовкой», принес нежданную оттепель на скованную морозами землю и прилип к ней моросью, редким дождем. Ветер рвался над изрезанной балками степью, заваленной снегом, пытаясь оторваться от промерзшей земли, бросался в стороны, крутился на месте, стучался в окна и забивался под крыши добротных куреней. Но студеная земля, истосковавшаяся по теплу, крепко прижимала к себе, не отпускала, и он, теряя силы, истекал к ней леденеющими каплями.

Штабс-капитан Шанцев лениво курил папиросу, сплевывая на замазученную землю липкую слюну. Нещадно болела голова, чертовски хотелось похмелиться, но командир бронепоезда полковник Гулыга приказал готовиться к бою, загрузиться продовольствием и боеприпасами. Зная вспыльчивый характер полковника, Шанцев морщился от полуобморочного состояния, кривил губы и проклинал эту войну, красных и поручика Сашку Вилесова, так некстати притащившего прошлой ночью ящик шустовского коньяка.

Примостившись на обломке кирпичной стены, оставшейся от водонапорной башни, Сергей Муренцов, зябко кутаясь в шинель, торопливо писал в своем дневнике:

«К осени 1918 года от Рождества Христова всепожирающее пламя адского костра, зажженного кучкой революционеров, не признающих ни Бога, ни царя, ни вековых традиций, огненным смерчем пронеслось по матушке России. На пепелище остались лишь опаленные и разоренные деревенские избы, да кресты на погостах. Русский мужик, чей сусальный образ, с подачи господ писателей, навсегда впечатался в сознание обывателя как самый незлобивый, жертвенный народ якобы, начинающий креститься раньше, чем ходить, озверев при виде потоков крови, потерялся разум и бросился грабить, жечь, насиловать и убивать себе подобных.

Русская интеллигенция, всю жизнь сострадающая несчастному мужику, увидев, что тот в упоении пьяной бесноватой злобы крушит не только своих угнетателей, но и уже задрал подол матушке России, готовясь изнасиловать ее самым гнуснейшим способом, стала спешно паковать чемоданы, спеша покинуть пределы отчизны, страдания которой они так любили воспевать в своих стихах и одах».

Муренцов бросил писать, закрыл дневник.

– Шанцев, есть папиросы? – обратился он к проходившему мимо штабс-капитану.

– Есть... – приостановился тот и вытащил из кармана шинели черный кожаный портсигар. Протянул его Муренцову. – Закуривайте, поручик.

Раздался зычный голос полковника Гулыги:

– Штабс-капитан, всех офицеров ко мне.

Не успевший прикурить Муренцов чертыхнулся.

– Не судьба!

– Ну да! – серьезно подтвердил Шанцев. – Будет жаль, если погибнете не покуривши.

Прищурился от дыма глаза, он выбросил окурочек. Крикнул:

– Господа офицеры! К полковнику!

Заревел паровозный гудок.

– У-у-ууу!

Казалось, что в тумане ревет громадный раненый зверь, требующий крови. Серо-зеленая туша бронепоезда выступала из тумана доисторическим исполином, толща брони, стволы пушек и пулеметов порождали ощущение силы и молчаливой угрозы. Несущий корпус мотоброневагона был склепан на швеллерах и установлен на поворотных пульмановских

тележках. Толстая броня прикрывала пулеметные, орудийные и наблюдательные камеры, центральный каземат. Концевые пулеметные и наблюдательные камеры представляли собой коробку с граненым потолком. В ней размещались наблюдатель и пулеметчики. Наблюдение велось через люки со смотровыми щелями. Два пулемета были установлены на специальных станках и имели угол обстрела 90 градусов в горизонтальной плоскости и 15–20 градусов в вертикальной. Здесь же размещались ящики с патронами. Над тележками располагались орудийные камеры, при этом вся орудийная установка размещалась на шкворневой балке в центре тележки.

Команда состояла из 120 солдат и 20 офицеров.

Бронепоезд был грозным оружием. Но из-за своей громоздкости и неповоротливости слишком уязвим для артиллерии противника.

* * *

Тусклый свет ламп накаливания слабо струился из-под толстых стеклянных плафонов. Все офицеры, за исключением дежурной смены, собрались в штаб-вагоне.

Полковник Гулыга откашлялся, хрипло и надсадно объявил:

– Я только что от командующего, господ офицеры. Должен сказать, что дела наши дрянь. Красные прорвали фронт, сегодня-завтра их конница будет здесь. Наша задача – выдвигаться в район станции Широкая.

Полковник ткнул в карту огрызком карандаша:

– Мы должны максимально задержать продвижение красных войск. Выступаем через час, прошу вопросы.

Офицеры молчали, все уже было давно обговорено. Приказа выступить ждали еще несколько дней назад. Полковник Гулыга помолчал, вздохнул:

– Благодарю вас, господа офицеры!

Совсем неожиданно перекрестил офицеров широким размашистым крестом, после чего трубно высморкался в большой клетчатый платок.

– По местам, господа офицеры.

Ночью, не доезжая до станции Широкая, бронепоезд уткнулся в завал из шпал и камней. Рельсы впереди были разобраны и сброшены под откос. Раздались звуки винтовочных выстрелов. Послышались крики, громкие команды.

Ремонтная бригада бронепоезда, пытавшаяся восстановить железнодорожное полотно, сразу же легла под кинжальным пулеметным огнем.

Красные выкатили две батареи.

– Первое орудие, бронебойным, два патрона. Огонь! Второе орудие... Третье... Четвертое!

Артиллеристы красных работали как заводные. Заряжали, наводили, несколько секунд ожидания... Выстрел. Неделет. Второй. Перелет!.. Поправили прицел, задвинули затвор, вновь короткий миг ожидания. Выстрел! Взрыв почти под самым полотном, под колесами ведущего паровоза. Башни бронепоезда тоже оцетинились орудийными выстрелами и пулеметными очередями. В сторону красных ударили взрывы шрапнели. Крики раненых, ржание лошадей. Бронепоезд дал задний ход. Но снаряды красных уже разорвали железнодорожное полотно. Взрывом разметало мосточек, расшвыряло шпалы на пятьдесят саженей вокруг, вырвало длинные стальные рельсы и загнуло их к небу. Следующие снаряды заделали бронеплощадку. Огонь, удар, дым, радостные крики красных. Вздymались вверх доски, какие-то бочки, тележные колеса, летели куски человеческих тел.

Уже несколько часов длилась дуэль между бронепоездом и красной артиллерией. Была разбита средняя площадка. Сорвало головную башню. На бронепоезде начался пожар. К

железнодорожному полотну двигались пехотные колонны, разворачивались в атакующие цепи. Бронепоезд начал дымиться. Его пушки замолчали.

Муренцов сбросил офицерский китель и, оставшись в белой бязевой рубашке, засел за пулемет, выцеливая на мушку мелькающие тени, разрезая длинными очередями поднимающиеся серые цепи. Красные залегли вокруг бронепоезда, поливая серо-зеленую броню струями свинца.

Штабс-капитан Шанцев окровавленным лицом уткнулся в смотровую щель, Вилесов, бледнея и покрываясь последней, холодной испариной, пускал ртом пузыри крови. Какой-то бородатый казак, совершенно неузнаваемый в темноте, неуклюже завалился на спину и со смертельным ужасом в глазах тарачился на темное пятно крови, расползающееся по его гимнастерке.

Муренцов слился с пулеметом и стрелял, стрелял, едва успевая вытирать мокрое от пота лицо серым от копоти и грязи рукавом нательной рубашки. Грохот орудий сливался с пулеметными очередями, звоном падающих в кожаный мешок стреляных гильз, визгом отскакивающих от бронекорпуса пуль и осколков. Дым, пороховая гарь. Раскаленный пулемет выплюнул последнюю ленту и сердито замолк. Оглушенный от грохота поручик увидел, что оставшиеся в живых разбирают винтовки и гранаты.

Молоденький прапорщик закричал ему в ухо:

– Полковник приказал покинуть бронепоезд, будем прорываться в темноте!

Муренцов схватил винтовку, лягнул затвором, досылая патрон в патронник. Несколько десятков оставшихся в живых выскользнули в приоткрытые двери на холодную осеннюю землю. Темнело. Впереди, у линии горизонта, там, где кончается степь, розовела половинка мутного от пыли и дыма солнца. Далекий гул, запах пороха, тротила и страха.

Красные цепи молчали. Муренцов полз, вжимаясь всем телом в жесткую мокрую траву, слыша рядом хриплое дыхание. По цепи передали:

– Изготовьсь!

Муренцов подтянул поближе винтовку.

Впереди, в темноте виднелся земляной бруствер траншеи. За ним прятались красноармейцы.

Приготовились к рывку вперед.

– Ура-ааа!..

В это время раздался оглушительный взрыв, полковник Гулыга взорвал бронепоезд. Муренцов не услышал удара и не почувствовал боли. Ночь окрасилась яркой вспышкой, ноги его подломились, и он упал лицом в холодную мокрую землю.

* * *

Утром следующего дня путевые рабочие и красноармейцы восстанавливали железнодорожное полотно. Шустрый чумазый паровозик утащил на станцию останки бронепоезда. От взрыва пострадали всего лишь три платформы, покореженные и обожженные, они валялись под откосом железнодорожного полотна. Пленных не было. Раненых и оставшихся в живых бойцы интернациональной бригады добились штыками и шашками.

Ближе к вечеру казаки с окрестных хуторов на подводах направились к месту боя в надежде разжиться тем, что не успели подобрать красные, и по христианскому обычаю похоронить убитых. Над холодной степью кружилось воронье. Окровавленные тела без сапог и обмундирования лежали перед насыпью железнодорожного полотна. Около десяти человек лежали друг на друге, как порубленные деревья. Их постреляли из винтовок, перекололи штыками. С простреленной головой лежал безусый прапорщик.

Прохор Косоногов походя успел заметить тускло блеснувший на солнце четырехгранный штык. Вырвал клоч сухой пожухлой травы, присыпанной снегом, вытер штык и сунул его в телегу, под дерюжку. Бросив подводу, Прохор переходил от тела к телу, истово крестился, глядя на лица убитых, на каркающее воронье. Какая-то неведомая сила притягивала его взор и заставляла с каким-то болезненным любопытством всматриваться в искореженные смертельной мукой лица, ища на них какие-то неведомые знаки.

Запряженная в телегу лошадь, чуя запах свежей крови, беспокойно прядала ушами и фыркала ноздрями.

Восьмилетний Мишутка держал ее под уздцы, уткнувшись головой в бархатные лошадиные ноздри. На его ресницах дрожала прозрачная слеза. Внезапно Прохор упал на колени и заросшим седым волосом ухом припал к серой от пыли и грязи груди лежащего человека. Легкий ветерок слегка шевелил грязные лохмотья бязевой рубашки, и под кровавым пятном на рубашке старик услышал слабые удары сердца:

– Тук-тук... тук-тук-тук.

– Внучек, внучек!

Старик замахал руками.

– Скорее, давай сюда подводу, один, кажись, еще живой!

Лошадь не шла. Закусив от напряжения губу, мальчик вместе с дедом на руках перетащили обмякшее безвольное тело в телегу, подложив под голову смятую тряпку.

– Но-о-оооо! – закричал старик.

Всхрапывая и кося испуганным взглядом, лошадь понеслась к станице, прочь от запаха смерти и мертвых тел.

* * *

Пришла весна 1919 года. На Верхнем Дону в степи дружно таял снег, обнажая проплешины сухих проталин. В воздухе стоял пьянящий аромат талого снега, конского навоза, горьковатый запах дыма из кузнечного горна. Муренцов почти поправился, но на баз старался выходить затемно, чтобы не встречаться с чужаками. Ждал случая, чтобы вернуться домой, в Москву. Поздним вечером он накинул на плечи тулуп из овчины и вышел во двор раздышаться. Облокотившись на приклеток амбара, он курил, вслушиваясь в собачий брех, и не заметил, как у плетня появилось усмешливое лицо соседа Степана Чекунова.

– Здорово вечерел, ваше благородие.

– Слава Богу, Степан Алексеевич. И тебе не хворать. Что нового в большом мире?

Сосед остановился рядом, сильно затынулся ядреным самосадам, закашлялся и с ненавистью выговорил по складам:

– Граж-ду-пра!

Муренцов поперхнулся:

– Алексеич, ты где слово такое услышал?

– Сегодня утром ревкомовцев возил в город, ну и по дороге слышал гутор ихний. Гутарили, что большевики на Дону создали эту самую, граж-ду-пру. А она новый декрет объявила, что, дескать, прежнее правление на Дону отменяется. Станишникам теперь лампасы запретят, бабы будут общие, а станицы наши в честь большевиков переименуют. Назовут их Ленинская да Троцкая. Не будет теперь станиц и хуторов. Села и деревни теперича будут.

Помолчали. Муренцов мысленно переваривал услышанное.

– Твой старик-то дома? Ты ему передай, что ревкомовцы грозились по ночи всех ахвицеров заарестовать, так что вы с Прохором поостереглись бы.

Муренцов затоптал окурок.

– Ну, прощевай, сосед, благодарю за новости.

Вбежал в хату.

– Дедуня, беда. Уходить мне надо. Ночью ревкомовцы придут. Если меня найдут, и тебя со старухой и внуком по головке не погладят.

Старуха с внуком лежали на печи. Старик ковырял шилом старое седло, протягивая дратву через кожу.

– Погодь трохи, вашбродь. Не шебурши. Куда ты по ночи, зимой да пеши? Коня я тебе не дам. Где я потом коника искать буду? А он мне самому нужен, через пару месяцев сеять. Дай покумекать. А ты збирайся пока. Старуха, ну-ка собери нам харчей в дорогу.

Пока жена укладывала в котомку сало, кусок вареного мяса, старик убрал седло. Вздохнув, достал из сундука шаровары с лампасами, натянул на себя тулупчик.

– Вот что, Сергеич, давненько я у односума своего, Петра Шныченкова, на хуторе не был. Нехорошо это – старых товарищей забывать, сейчас жеребчика запрягу, да поедем.

Уже одетый и подпоясанный Муренцов впился в него взглядом, нервно подергивая ногой.

Они вышли на баз. Неожиданно пошел снег. Крупные снежинки падали на застарелый потемневший снег, таяли на изгороди и крышах. Стояла тишина. Черная ночь вороним крылом накрыла станицу, мерцали лишь одинокие холодные звезды, да обкусанный по краям месяц бодливо показывал рожки. Крыши куреней и сараев были покрыты снегом, плетни и деревья стояли в белой опуши инея. Хрустко поскрипывал под ногами снег.

Прохор вывел жеребца из денника и надел на него сбрую. Хомут лег ему на плечи свинцовым грузом, и Буян заржал недовольно, горестно задирая вверх свою голову.

Прохор замахнулся на него кнутом.

– Тише ты, аспид чертов, коммуняк разбудишь.

Жеребец перебирал копытами, недовольно всхрапывая.

Прохор принялся затягивать супонь. Потом сходил в сарай, принес укороченный карабин, завернутый в мешковину. Положил в розвальни. Притрусил его соломкой. На молчаливый вопрос Муренцова бормотнул:

– Так мягшее... да и ружьишко не повредит в дороге, вдруг волки... Но-ооо! Пошел родимый.

Вожжи хлестанули коня по спине. Жеребец рванул вперед. Легкие сани летели по насту, почти не касаясь земли. Муренцов лежал пластом, ухватившись руками за облучок. В степи было тихо и морозно. Тишину нарушал лишь скрип полозьев да перестук лошадиных копыт. Одинокие стебли полыни раскосмаченно кланялись путникам в зыбком лунном свете. В низине, где снега навалило поболее, конь начинал задышливо хекать, сани вязли в снегу. Трещал сухой кустарник под копытами.

Прохор размахивал вожжами, кричал:

– Но-оооо, милай! Вывози, родимый!

Конь напрягся, фыркал гневно и, вытянув сани, самостоятельно переходил на легкий бег. Тень от саней, хомута, несущегося вперед коня с клубами вырывающегося из его ноздрей убаюкивала Муренцова, гнала прочь мысли о войне и смерти.

Прямо на берегу Дона расположилось несколько саманных куреней, покрытых камышом. Чуть поодаль располагался дом, построенный из сосновых брусьев, с крышей, покрытой железом. Именно к нему Прохор и направил коня. Муренцову был виден застывший Дон, подвывал ветер. Буян сам остановился у знакомых ворот. Залаяли собаки.

Через несколько минут из ворот, накинув на плечи полушубок, вышел чубатый казак, односум Прохора. Зорко вглядываясь в сидевших людей, он подошел к саням, обнял Прохора, протянул Муренцову сухую, провонявшую лошадиным потом и ружейным маслом ладонь.

– Никак вашбродь с тобой, Прохор?

– Ну да, Петро, это тот самый, кого я от краснюков спас, а старуха моя выходила отварами. Не бросать же его большакам на расправу!

– Оно, конечно, бросать негоже. Сюда они не сунутся, а если и сунутся, то укорот враз получат. Ну, пойдем с нами. У нас тесновато, но в тесноте, не в обиде, даст Бог, разместимся. – И пошел открыть ворота.

В просторном дворе располагалось несколько строений – саманная конюшня, загон для свиней, несколько сараев, амбар. Привязанные к коновязи стояли кони. В углу двора снег алел красными пятнами. Валялись ошметки обгоревшей соломы. Пахло паленой щетиной.

Прохор крякнул:

– Вовремя поспели. Кабанчика забили.

Муренцов вслед за Прохором и хозяином вошел в натопленную комнату. На стенах висели зеркало, семейные фотографии, портреты царей, репродукции из журналов. Топилась печь. Хозяйка жарила мясо на огромной сковородке.

На полу вповалку лежали и сидели казаки. Кто-то чистил оружие, ведя меж собой неспешный разговор, несколько человек спали, с головой укрывшись шинелями и тулупчиками.

– Доброго здоровьица, станишники. Хлеб-соль!

При виде гостей все замолчали, нестройно и коротко ответив на приветствие.

Прохор крякнул:

– Эх, Петро, Петро, что же ты службу плохо правишь? Мало я тебя под шашку ставил. Разве ж можно без охранения? А если бы ревкомовцы с ружьями и пулеметами нагрянули?

Петр захохотал:

– Хватился старик! Уже четверть часа, как соседский хлопчик верхи прибежал. Говорит, едет дядька Прохор и с ним чужой, городского обличья, вроде как из ахвицеров.

– Ну и слава богу, – подобрел Прохор. – Ты распорядись, Петро, нехай моего жеребчика распрягут да сенца ему положуть!

Шныченков вышел.

Хозяйка, метя по полу юбками, принесла с кухни шкворчащую сковородку с мясом. Поставила на чисто вымытые доски кухонного стола. Казаки, крестясь, потянулись к столу.

На крыльце затопали сапоги, заскрипела дверь, и в прихожую вошли еще несколько человек. Все они молча развязывали окоченевшими пальцами башлыки, снимали шинели и полушубки.

Хозяйка, недовольная было непрошеными гостями, хотела что-то сказать, зыркнула глазами, но тут же осеклась, спустилась в погреб и принесла оттуда большую миску квашеной хрустящей капусты, огурчики, моченые арбузы. Пока все здоровались да крутили сигарки, покрошила в капусту лучок, полила постным маслом. Придвинули еще один стол, на крайние табуретки положили доски. Слава Богу, разместились все. Оголодавшие казаки навалились на картошку со свежей убоиной в семейной сковородище, размерами схожей с ушатом. И пока хозяйка хлопотала с самоваром, завели неспешные разговоры о прошлой службе, о войне да предстоящем севе.

Слегка разморенный теплом и сытным ужином Муренцов смотрел на казаков растроганными глазами, думая о своем: «Вот на таких и держится Россия. Жива будет Отчизна, пока живы казаки».

Прохор засобирався домой. Расставаясь, сунул Муренцову свой карабин.

– Прощевай, Сергеич! Даст Бог, свидимся.

Муренцову на полу в горнице, возле лежанки, постелили шубу. Он скинул сапоги и, не раздеваясь, рухнул спать. Уснул сразу, едва лишь щека коснулась прохладной, пахнущей свежестью наволочки.

Ночью Муренцов проснулся от сильного храпа. В комнате пахло мокрой овчиной, табаком и жарко натопленной печью. Внезапно храп оборвался. Человек зачмокал губами, забормотал и начал кашлять. Откашлявшись, плюнул и снова захрапел.

В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и узкое окошко с частым переплетом, Муренцов видел молодой месяц с рожками. И захолонуло, сжалось от внезапной тревоги сердце. Что с нами со всеми будет завтра?

Утром Петр дал ему каурого жеребчика вместе с седлом. Сказал:

– Звиняй, Сергеич, шашки лишней нема. В бою добудешь. Думаю, что уже скоро. Не сегодня, завтра схлестнемся с краснюками!

* * *

11 марта 1919 года на Верхнем Дону началось восстание казачества против большевиков.

Ровно в полдень на хутор прискакал верховой. Где-то вдалеке сухо трещали выстрелы, ухало орудие. Все казаки, находящиеся в доме, высыпали во двор. Верховой, перегнувшись через луку седла, что-то бросил Петру. Тот побледнел, выплюнул папироску, закричал, багровея лицом:

– Седла-а-аать! Выступаем!

По двору забегали люди. Петр Чекунов уже сидел в седле, конь под ним прыгал ушами, нервно перебирал копытами. Хищно щерясь щербатым ртом, Петр бросил Муренцову:

– Пойдем на соседний хутор. Там зазноба Мишки Парамонова, главного ревкомовца, проживает. Наверняка и он там. Пошшупаем его за кадык!

Отряд строился на улице, человек пятнадцать верховых, неполный взвод. Колонной, на рысях, двинулись на спуск к Дону.

Казаки проскакали по улице хутора. Муренцов и Петр спешили, привязали лошадей к стоящему дереву. Пригибаясь, направились вдоль плетня во двор к Парамоновым. Шедший впереди Петр первый вошел на парамоновский баз. Дзынькнуло оконное стекло, негромко хлопнул револьверный выстрел. Пуля попала Шныченкову в правую руку. Он выронил винтовку и, перекосившись на правый бок, отскочил к амбару.

– Сергеич, в сенях он. Я отвлеку его зараз, а ты сзади зайди, со стороны сада! – закричал он громким шепотом, неловко шаря левой рукой по поясу и пытаясь расстегнуть кобуру нагана.

Муренцов, задержавшийся за воротами, пробежал вдоль плетня и перемахнул в сад. Темнели окна дома. Во дворе трещали револьверные и винтовочные выстрелы. Прикладом карабина выбил стекло, опасаясь порезать лицо, поднял воротник полушубка и бросился в окно. Ему показалось, что в комнате кто-то есть, мелькнула и осталась в памяти разобранная кровать, скомканное ватное одеяло.

Парамонов встретил его в коридоре в расхристанной, мокрой от пота рубахе. Револьвера в руках уже не было, кончились патроны, понял Муренцов.

В руках у Мишки была обнаженная шашка. Ее жало смотрело в пол и походило на змею, готовую ужалить смертельно.

Распаленный страхом смерти Парамонов заревел:

– Убью! – И занес шашку.

– Стреляй! – крикнул мелькнувший в дверном проеме Шныченков.

Грохнул выстрел. В комнате кисло запахло сгоревшим порохом. Мишка подломил колени и рухнул лицом вниз. На его спине расплылось кровавое пятно.

– Везунчик ты, Сергей Сергеич. Думал, убьет он тебя...

Петр поднял с пола шашку.

– Ну вот, господин поручик, тебе и сабелька. Добрая шашка.

На улице уже ржали кони, раздавались громкие голоса, бряцало оружие. То подросли казаки. Петр, глядя на окровавленное тело, распластавшееся в комнате, распорядился:

– Это дерьмо вытащить на баз, пусть его собаки гложут.

Кто-то из казаков, разорвав на полосы чистую простыню, уже бинтовал ему руку. Морщась от боли, Петр приказал:

– Пошуйте по комнатам, хлопцы, где-то тут его волчица ховается.

Через несколько минут раздался плач, крики. Казаки за волосы приволокли рыдающую женщину из спальни. Муленцов успел охватить взглядом ее фигуру, крепкую грудь, задницу, обтянутую ночной сорочкой.

– А что, хлопцы, может быть, отхарим эту ревкомовскую проблядь со всей нашей казацкой удалью? – обрадованно закричал Петр. – А?.. Чего молчите?

Муленцов понял, что Петро не шутит. Понял и то, что мысль пришла всем по душе. Сжав в руке рукоять шашки, он рванулся навстречу и наткнулся на волчий тяжелый взгляд Петра. Ствол револьвера смотрел ему в живот. Тяжело роня слова, словно кидая в прибрежную воду камни, Шныченков выдавил:

– Ты погоду, вашбродь... соваться не в свое... дело. Погодь... трюхи.

Беспричинно свирепея и кривя рот, закричал:

– А они нас жалкуют? Детишков да баб наших, которые после власти их безбожной без кормильцев остались?

Рванул рукой ворот ее ночнушки так, что разорвал рубашку до самого подола, и Муленцов увидел, как курчавятся ее сухие и жесткие волосы под мышкой.

Петро повернулся к казакам и, недобро улыбаясь, попросил:

– Вы, хлопцы, загните ее раком и придержите слегка, чтобы раненую руку мне не задела, а то брыкаться еще начнет. Так мне приятнее будет, а ей, гниде, обиднее переживать свое падение.

Побагровев лицом, Муленцов сгорбился и, подняв воротник полушубка, вышел во двор, в сердцах хлопнув дверью.

Наутро конный отряд двинулся в станицу Вешенскую, где располагался штаб восстания. Казаки спешили.

Лошади, от которых валил пар, безостановочно шли крупной рысью. По дороге встречали казаков. Попалось несколько небольших вооруженных отрядов, двигавшихся в ту же сторону.

* * *

Выступление казаков Верхнего Дона совпало с выступлением Добровольческой армии генерала Деникина на Кубани и успехами армии Колчака, продвинувшегося с Урала до средней Волги.

В первой декаде июня 1919 года конница генерала Секретева, усиленная пятью десятками станковых пулеметов Максима и таща за собой конные орудия, сокрушительным ударом прорвала линию обороны красных вблизи станицы Усть-Белокалитвенской, двинулась в сторону станицы Казанской.

Офицерский разъезд 8-й Донской конной бригады двинулся к Дону. Пересмеиваясь и переговариваясь, офицеры шли рысью. За их спинами у линии горизонта медленно оседало солнце. Терпко пахло полынью, горьким конским потом.

Командовавший разъездом штабс-ротмистр Половков, оглянувшись, заметил в стороне стоящего на задних лапках сурка. Тот, вытягивая шею, поглядывал на конных, жалостливо посвистывая.

Уже темнело, когда разъезд наткнулся на вооруженных людей. Завидя конный отряд, те прыснули в разные стороны, но Половков, сорвав с плеча винтовку и изготовившись для стрельбы, зычно крикнул:

– Стоять, каналы!

Люди остановились, стали возвращаться, опасливо поглядывая на верховых. Офицеры спешили, с любопытством посматривали на оборванных небритых казаков. Штабс-ротмистр достал из кармана френча серебряный портсигар. Неторопливо размял папиросу, прогнул мундштук. Спросил хрипло:

– Кто такие?

Молодые казаки оробело смотрели на чисто выбритых офицеров, ладно пригнанное обмундирование. Ответил стоявший ближе всех урядник, в накинута на плечи старой прожженной шинели, разбитых сапогах.

– Разрешите доложить, вашбродь. Полевой караул хутора Варваринский.

Половков чиркнул спичкой. Спросил с ехидным вызовом:

– Ну-с, станичники! И чего же побежали, как зайцы?

– Молодежь, вашбродь. Необстрелянные ишшо. Думали, красные.

Штаб-ротмистр продолжал издевательски отчитывать:

– Ну а сам-то? Ты-то стреляный заяц!

Урядник вздохнул виновато.

– В том-то дело, господин ротмистр, что стрелянный. Потому и помирать неохота.

Половков затоптал папироску, сплюнул, косолапо загребая, пошел к лошадям. Вскочив на коня, перегнулся через луку седла к уряднику.

– Ваш караул снимаю. Через час здесь будут уже наши части. Предупредите своих командиров, пусть готовятся к встрече, и не дай бог, кто сдуру выстрелит. Все. Исполняйте. Бегом марш!

Ударил коня каблуками, тот зло оскалился, прыгнул вперед. Следом наметом рванули другие.

Казаки нестройной толпой двинулись к хутору. Один из них, постарше, сказал огорченно:

– Хоть бы закурить предложил вашбродь. Папиросы-то какие были духовитые!

Урядник сплюнул.

– С какого хрена он с тобой курить будет? Ты ему кто? Ровня? Насмотрелся я на них, на позициях. Белая кость. Правильно делают большаки, что к стенке их ставят.

Помолчал. Потом выругался зло.

– Хотя какая нам разница, белые... красные!.. Х...р на х...р менять – только время терять!

* * *

Ставка Деникина размещалась в Таганроге. Генерал Краснов, к тому времени разругавшись с командованием Добровольческой армии, подал в отставку и отбыл с Дона в Эстонию к Юденичу, а позднее – в Германию. Обстановка складывалась в пользу Добровольческой армии, которая на тот момент составляла 100 тысяч штыков и сабель.

В июле 1919 года генерал Антон Иванович Деникин издал директиву о наступлении на Москву. Однако сил для развития успеха у него не хватило, и совместный поход «добровольцев» и казаков на Москву в 1919 году закончился провалом. Большевики собрали все силы на юге и нанесли удар.

Добровольческая армия, лишенная какой-либо поддержки, не имеющая ни тыла, ни флангов, с тянущимся за собой хвостом обоза и свирепо ненавидимая мужицким населением, как гонимый охотничьими собаками дикий зверь, тяжело отходила на юг.

К концу декабря 1919 года части Добровольческой армии подошли к Дону. Зима выдалась холодная, и Дон к этому времени крепко замерз. Перейдя реку, потрепанные остатки дивизий заняли фронт от Азовского моря до Ростова и Нахичевани. Конная бригада генерала Барбовича подошла к Ростову последней. Город и мост были уже заняты красными. Отбив несколько атак, бригада к вечеру со всей своей артиллерией перешла Дон прямо по льду. За два дня до этого из Ростова ушел в Азовское море ледокол, проломавший открытую полосу в середине реки, но через несколько часов она вновь замерзла.

Бывший полковник Генерального штаба Василий Иванович Шорин, командовавший у красных Юго-Восточным фронтом, отдал приказ командарму Первой конной армии Буденному немедленно форсировать Дон. Красные части должны были захватить Батайск и ударить встык между добровольцами и казаками.

Условия местности и погода благоприятствовали красным. Красная лава налетела на еще не успевшие развернуться резервные порядки армии Деникина, разметала их, и вся эта масса перемешавшихся всадников, пулеметных тачанок и орудий неудержимо понеслась, коля и рубя друг друга.

Двинувшаяся на перехват красным частям донская конница попала в метель. Под Торговой множество людей обморозилось, донцы были разбиты и разметаны по степи.

За ночь метель улеглась, и 6 января с утра стояла тихая, морозная и ясная погода. Главные силы Буденного, 4-я и 11-я кавалерийская дивизии и части 6-й, начали с рассветом переход по Нахичеванской переправе. Первые сведения об этом поступили в 7 часов утра от конных разведчиков.

Атакующим полкам представилась незабываемая картина: совершенно ровная, гладкая как стол и покрытая девственно белым снегом широкая, искрящаяся на солнце степь с торчащими невысокими курганами. Отступающие редкие цепи донцов и кубанцев, а у них на плечах густая серо-зеленая лава красных с плюющимися огнем пулеметными тачанками. За лавой двигались несколько квадратов резервных бригад. Между ними и на флангах – снимающиеся с передков на открытой позиции. Основную массу белой конницы составляли казаки-донцы и кубанцы.

Были терские казаки, немного лучше сохранившиеся, под командой генерала Агоева. Но их было немного, примерно 2000–2500 шашек. Были вполне стойкие калмыки, но их было совсем мало, всего лишь несколько сотен. Всего было собрано от 15 до 18 тысяч клинков.

Грозная сила, если бы казаки были прежние. Но казаки уже не хотели драться. Они были в плохом состоянии, многие обморожены. Донцы деморализованы потерей своей территории и были небоеспособны. Они потеряли дисциплину, бросали пики и винтовки, чтобы их не посылали в бой. Исполняли приказы нехотя и фактически уже закончили воевать.

Кубанцы были сплочены, собирали кинутое донцами оружие. У каждого за плечами были две, иногда три винтовки. Но и они не желали драться с красными. Они тоже стремились домой и были настроены далеко не воинственно. Кони изнурены большими переходами и еле шли.

Белая армия, теряя силы и возможность к сопротивлению, отступала на Кубань, ища рубеж, где можно было произвести перегруппировку, привести себя в порядок и подготовиться к новым операциям. Но не было больше никаких операций...

* * *

В одном из последних боев под Новороссийском Муленцов был ранен в грудь.

Раненые сидели и лежали на полу, на лестнице в помещении женской гимназии. Тут же лежали умирающие. Санитары спотыкались о людские тела, их ноги скользили на мокром от крови полу. В воздухе стоял тяжелый запах лекарств, крови, пота. Муленцов метался в бреду, и рука его ощущала позывную, тягучую тяжесть занесенного над головой клинка. Перехваченное горло хрипело, конь стлался в бешеном намете. Приходя в сознание, Муленцов застонал. И тут же почувствовал у себя на лбу прохладную ладонь.

– Лежите... Лежите, господин поручик. Вам нельзя шевелиться.

Он открыл глаза.

– Кто вы?

– Я – сестра милосердия. Мария Ивановна Шехматова. Маша.

На косынке проходившей мимо молодой женщины вышит красный крест.

– Маша...

И снова потерял сознание.

А потом было выздоровление, почти месяц счастливой жизни с Машей и отступление с полком.

Донская и Кубанская армии, почти полностью деморализованные, отходили в беспорядке. Оборону держали только остатки Добровольческой армии, к тому моменту сведенные в Добровольческий корпус, но и они с трудом сдерживали натиск РККА.

У Муленцова было мрачно и душно на душе, словно в могиле. Болело сердце. С тоской он думал о том, что от полутора тысяч человек, с кем вместе вышли из Ростова, едва осталась рота. Все было кончено. Россия погибала. Населенные пункты обезлюдели. В деревнях и станицах стояла кладбищенская тишина. Зияли выбитыми стеклами обветшалые хаты. Чернели пятна забитых досками дверей. И только кресты, словно умоляя, тянули вслед отступающим полкам деревянные перекладыны рук.

Казакам не удалось пробиться на Тамань, и в результате наступления красных они оказались в Новороссийске.

Спасти остатки Белой армии от окончательной гибели могла только экстренная эвакуация. Но пароходов не хватало. Часть судов запаздывала из-за штормовой погоды, часть не сумела вовремя прийти на помощь из-за карантина, установленного в иностранных портах. Эвакуация осуществлялась в обстановке паники, во время которой погибло несколько сотен человек.

Муленцову удалось затолкать Марию на последнее судно, отходившее от пристани в Крым. А сам он остался. Места на отплывающем корабле Муленцову не нашлось. Опустив руки, он долго смотрел на то, как в утренней дымке тает силуэт уходившего корабля.

Именно тогда была поставлена последняя точка в этой тяжелой, кровавой, братоубийственной войне.

* * *

Поезд шел в сторону Москвы.

Крестьяне со своим скарбом, мешочки с набитыми баулами, бывшие фронтовики, дезертиры и прочий неустроенный люд, кого военное лихолетье лишило своих домов и привычной оседлости, оккупировали вагоны поезда. Люди сидели, стояли и спали не только на диванах и вагонных полках, но и на полу, в коридорах и отхожих местах. Все это людское месиво орало, кричало и спорило, отстаивая свои права. Каждый старался хоть на время

отгородиться от остального враждебного мира своими узлами и котомками. Поезд шел, неторопливо постукивая вагонными колесами, и постепенно люди успокоились, притихли, понимая, что хоть час, два или десять никуда не надо будет бежать, занимать очереди и материться, размахивая кулаком или наганом. Надо только плотнее прижаться к своему скарбу, чтобы не стащили вагонные воришки, не прихватил какой-нибудь лихой человек, заметивший, что вещь оставлена без присмотра. В набитом битком вагоне стоял смрад табачного дыма, портянок, лука. Воздух от ночного испарения скученных, давно не мытых тел был невыносимо удушлив. В открытые окна залетал запах гари, прелой листвы, увядающего лета.

– Ах, Россия, Россия, что ты позволила с собой сделать?

Много лет в России шла непрекращающаяся война, жернова смерти крутились день и ночь, перемалывая новых людей, жизни, судьбы.

Алексей Костенко, бывший командир эскадрона 46-й стрелковой дивизии Красной армии, после ранения и контузии уволился и направлялся в Москву. Он воевал с 1915 года, сначала против немцев, заработав рану от штыка и Георгиевский крест, потом пошел за большевиками. Так получилось, что на жизненном пути ему встретились люди, сумевшие объяснить несправедливость государственного устройства. Они смогли привить ему веру в то, что устоявшийся мир можно переделать, сделать его справедливым и добрым, где не будет войн, не будет несправедливости и нищеты.

Одетый в солдатскую шинель Костенко прикорнул у окна, стараясь уснуть.

Почти напротив расположился мужчина примерно одного с ним возраста, в точно такой же солдатской шинели. Однако ни она, ни неряшливая щетина на его лице не могли скрыть офицерской выправки, интеллигентности лица и чистых рук с тонкими бледными пальцами. «Офицерик», – подумал Костенко. Глядя на него сквозь ресницы, Муренцов подумал то же самое: «Офицер, сейчас, наверное, у красных». Подняв воротник шинели и сунув руки в карманы, Муренцов дремал, чутким ухом прислушиваясь к шуму в вагоне и нащупывая в кармане рукоять револьвера.

Паровоз пронзительно засвистел и резко затормозил. Завизжали тормоза, вагон дернулся и остановился. С верхних полок посыпались мешки, чемоданы. Невдалеке раздались выстрелы, конское ржание. Пассажиры вскочили со своих мест, озирались, прислушивались. Всем было ясно, что ничего хорошего такая остановка не сулит.

«Банда», – подумал Муренцов, взводя в кармане курок револьвера. Поезд несколько раз дернулся, лязгнул буферами и, заскрипев колесами, встал.

В открытое окно вагона заглянуло бородатое страшное лицо в папаше, выматерившись, вцепилось взглядом в напряженное лицо Костенко. Конь под папашой нервно и зло фыркал, желтая пена с конской морды летела в разные стороны.

Муренцов видел, как со всех сторон поезд стали окружать подводы, послышался крик, женский плач, выстрелы, отборная матерщина. В коридоре вагона показался человек, пару минут назад заглядывавший в окно вагона. В руках у него был ручной пулемет, казавшийся игрушкой. Коридорный проем заслонила его двухметровая медведеобразная фигура, сходство со зверем добавляла мохнатая борода, огромная папаша. За спиной толпились люди с винтовками и обрезам. Человек в мохнатой папаше громко объявил:

– Граждане свободной России! Поезд временно задерживается частями Освободительной народной армии. Офицеры, жида и комиссары арестовываются для установления личности. Все трудовые крестьяне после проверки документов могут быть свободны.

Его окружение бросилось потрошить вещи пассажиров. Проверяющие забирали все мало-мальски ценное, сносили все в подводы. Сумки и котомки полетели в открытые окна. Пассажиры зашевелились, хватая свои вещи и прижимая их к себе.

Человек с пулеметом пошел по вагону, заглядывая в лица людей. Алексей вжался в угол, натянув на глаза офицерскую фуражку, но это не помогло. Бандит ткнул в его сторону стволом пулемета.

– Кто такой, кажи документы?

Костенко полез за пазуху шинели, морщась под цепким пристальным взглядом.

– Это конец... как глупо...

Совсем негромко ударили два выстрела. Револьвер, спрятанный в кармане Муренцова, твкнул совсем не страшно. Но бородач дернулся и, ступив шаг вперед, завалился на сидевших на полке людей.

Сергей Муренцов и Костенко вскочили одновременно, карман шинели поручика дымился, в руках был револьвер. Алексей, ухватив за ствол пулемета, дернул его на себя. Муренцов несколько раз выстрелил в сторону людей с винтовками и обрезками, бегущих по коридору. Не сговариваясь, через окно выскользнули наружу, на них никто не обращал внимания. Мародеры, привыкшие к безнаказанности, тащили в подводы вещи и продукты. Костенко с пулеметом в руках бросился к ближайшей из них. Из оставленного вагона слышались выстрелы, раздались крики:

– Мыкола, Грицько, москали утекли. Ну-ка рубаните их сабелькой!

Тщедушный возница с лукавым лисьим личиком и бегающими хитрыми глазками, раскладываящий на телеге узлы, увидев бегущих к нему вооруженных людей, хотел было перекреститься, но, подняв руку, внезапно передумал и молча юркнул в канаву. Упав на дно подводы, Муренцов схватил вожжи, нахлестывая лошадь и поворачивая в сторону от спешащих к ним навстречу людей. От головного вагона к ним рванулись несколько всадников и, пластаясь, пошли наперерез логом. Муренцов бил лошадь кнутом и помогал себе диким посвистом.

Над их головами вжикали пули, но скачущему во весь опор всаднику попасть в движущуюся мишень можно только случайно.

И Костенко повел стволом пулемета. Передняя лошадь подломила колени, выбрасывая человека из седла. Еще один преследователь взмахнул руками, захрипел, заваливаясь на спину. Бились на земле раненые кони, и расстрелянные, переломавшие в падении шеи люди серыми кочками лежали на желтеющей траве. Остальные рассыпались, рванули в разные стороны. Стоя на коленях, Алексей выпустил несколько коротких очередей, телегу трясло и бросало на ухабах и кочках, пули улетали в белый свет. Их никто не преследовал, беглецы свернули в лес. Осмотревшись по сторонам, Муренцов выпряг лошадь, ладонью ударил ее по крупу.

– Иди, милая, к людям, а то сожрут тебя волки.

Протянул товарищу руку:

– Поручик Муренцов, Сергей.

Тот в ответ протянул свою:

– Алексей Костенко, командир Красной армии.

Двигались пешком. Молодые люди не питали друг к другу ненависти, хотя у них не было оснований для особой любви. Через густой лес пробирались два человека, каждый из которых сделал свой выбор.

За те несколько дней, что лесами пробирались к большому городу, они много говорили. В разговорах старались не затрагивать те идеалы, которым служили. Каждый видел целью своей жизни служение России, только один считал своим Богом Ленина, другой присягал царю. Алексей спросил Муренцова, почему он начал стрелять, когда бандит хотел вывести его из вагона, может быть, его бы и не тронули? Тот поморщился.

– Честно говоря, не знаю и сам. Для меня что бандиты, что красные – все едино.

Костенко усмехнулся.

– Вот уж не думал, что я похож на бандита!

– Да нет, как раз вы мне показались порядочным человеком. В вашем лице есть что-то такое... – Он пощелкал в воздухе пальцами, подбирая подходящее слово. – Словом, что-то от героев Толстого. Ну... а тот был откровенный хам, быдло, возомнившее себя царем земли и хозяином жизни. Я буду всю свою жизнь таких пороть и вешать, независимо от того, под какими знаменами они будут шагать – красными, зелеными или серо-буро-малиновыми. Точно такие же новые хозяева жизни восемь месяцев назад расстреливали меня на Дону.

– Что же тогда не бежали вместе с генералами? – спросил Костенко.

– Места на корабле не хватило. А толкаться локтями я не люблю.

Костенко помолчал, внимательно рассматривая Муренцова. Спросил:

– Может быть, тогда к нам?

– Нет! Я уже сказал, что вы для меня на одно лицо.

Не доходя несколько километров до города, они расстались. У каждого была своя жизнь, своя судьба и свой бог, которому они служили.

* * *

Около двух часов дня 14 ноября 1920 года в Севастополе главнокомандующий Русской армии генерал-лейтенант Петр Врангель, пожуравлиному переставляя длинные ноги в блестящих сапогах, вышел из гостиницы «Кисть» и обошел последние заставы и патрули юнкеров Сергиевского артиллерийского училища, стянувшиеся от центра города к Графской пристани.

Печально позванивали серебряные шпоры. За генералом следовал его штаб и командование крепости с генералом Стоговым.

Генерал Врангель был одет в серую офицерскую шинель с отличиями Корниловского полка. Усталое тонкое лицо. На левом виске пульсировала синяя жилка. Взгляд серых упрямых глаз вонзился в шеренги.

В бухте под парами уже стояли военные корабли и пароходы, приготовившиеся отойти от причала. Из труб английских и французских миноносцев валил черный дым. Серой грозной машиной возвышался над водой дредноут. Угрожающе щетинились стволы корабельных орудий. Иностранные флаги, расцвеченные яркими красками, играли на свежем ветру. Пахнувший солью и йодом, густой холодный бриз дул с моря. Он нес к берегу запах другой, чужой жизни. Сплошной стеной стояли сгрудившиеся на пристани люди, ждали погрузки. Тускло светило неласковое солнце. У берега вскипали пенистые барашки зеленых волн. Когда-то родное, разбавленное русской кровью Черное море враз стало чужим и враждебным.

Черный от усталости и переживаний главнокомандующий поблагодарил юнкеров за службу и сказал:

– Мы покидаем Россию, но уходим не как нищие с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, с сознанием выполненного до конца долга. Произошла катастрофа, в которой всегда ищут виновного. Но не я и тем более не вы виновники этой катастрофы; виноваты в ней только они, наши союзники.

И генерал ткнул пальцем в группу военных представителей Англии, США, Франции и Италии, стоявших неподалеку от него.

– Если бы они вовремя оказали требуемую от них помощь, мы уже освободили бы русскую землю от красной нечисти. Если они не сделали этого теперь, что стоило бы им не очень больших усилий, то в будущем, может быть, все усилия мира не спасут ее от красного ига. Мы же сделали все, что было в наших силах, в кровавой борьбе за судьбу нашей родины...

Юнкера со слезами на глазах смотрели на своего главнокомандующего.

– Мы уходим на чужбину. Мало кто из нас вернется домой. Прощай, русская земля.
Генерал Врангель отошел, остановился перед серединой строя.

– Великой нашей Родине – России, ура!

Строй качнулся, с правого фланга пошла волна.

– Уррраааааааа!

Рокот. Гул, и фигура очень бледного генерала в серой шинели и черно-красной фуражке корниловцев.

Петр Врангель перекрестился, низко поклонился родной земле и на катере отбыл на крейсер «Корнилов».

Около трех часов покинул город начальник обороны Севастопольского района генерал-лейтенант Николай Стогов. Он уходил последним. Перед посадкой на катер он на миг остановился, перекрестился и заплакал, фуражкой вытирая слезы.

В гомонящей толпе толкались и ругались люди. Некоторые проклинали судьбу, но большинство шли молча, опустив глаза в землю, медленным ручейком вливаясь на сходни кораблей. Шли бородатые казаки, хмурые офицеры, солдаты в британских помятых шинелях, суетливые горожане, озабоченно прижимающие к себе котомки и чемоданы.

Оставшиеся на берегу крестились, плакали и сочувственно благословляли воинов и беженцев, уходивших в неизвестность. На корабли и суда «Крым», «Цесаревич Георгий», «Русь» садились только люди. Коней оставляли на берегу. Брошенные теми, кому верно служили на войне, они понуро стояли и бродили по пристани, некоторые бросались в воду и, пока хватало сил, преданно плыли за кораблями, увозившими их хозяев к чужим берегам.

На палубе, застыв в оцепенении, стоял прапорщик Николаев, бывший адъютант генерала Сиротина. Он долго и неотрывно смотрел на удаляющийся берег, потом вдруг встрепенулся, резким движением сбросил с плеч накинутую шинель. Сделал три торопливых шага к металлическому лееру и ласточкой прыгнул в бурлящую холодную воду.

Стоящие на палубе офицеры и солдаты загомонили, закричали. Какой-то офицер с багровым лицом выхватил из кобуры револьвер, стал выцеливать голову плывущего человека.

– Каналья!

На золотой погон легла чья-то ладонь.

– Отставить, ротмистр.

Офицер оглянулся. За его спиной стоял полковник Мальский.

– Как оставить, господин полковник, а присяга?! Он же, сволочь... к красным!

– Он не к красным. У него там мать. Мать – это сильнее присяг, – сумрачно сказал Мальский и ушел в каюту.

Удаляющийся берег затягивала сизая туманная дымка.

Зловещая тишина стояла на пристанях. Там, где совсем недавно стоял последний ушедший пароход, плавали в воде офицерские фуражки, кавалерийские седла, какие-то шубы, чемоданы, обрывки писем.

Холодный осенний ветер принес густой, прощальный рев паровых гудков.

Хмурым осенним днем 16 ноября 1920 года завершился великий русский исход.

На подступах к городу уже шел бой. Глухо бухали орудия, в интервалах между орудийными выстрелами слышалась трескотня пулеметов. За перевалом взметнулась брызжащим светом красная ракета и еще отчетливее и чаще, почти сливаясь, загремели артиллерийские залпы.

В город входили красные части.

В ожесточенной Гражданской войне победили большевики. Великая страна Россия оказалась во власти врагов русского народа...

* * *

Холодным январским утром 1922 года помощник начальника московской Губчека Алексей Костенко, просматривая списки арестованных, случайно наткнулся на фамилию Муренцов. В тощей желтой папочке, которую принесли по его приказу, на листочке серой рыхлой бумаги он прочел: «Сергей Владимирович Муренцов, родился 7 марта 1895 года. Из дворян. Окончил Ейское пехотное училище, поручик. С 1915 года участвовал в Империалистической войне. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Служил в Добровольческой армии генерала Деникина, принимал участие в казачьем восстании на Дону. Арестован за участие в контрреволюционном заговоре, являлся активным членом монархической организации “Союз русских офицеров”. При аресте оказал сопротивление. Ярый враг Советской власти».

Костенко извлек из портсигара папиросу, постучал бумажным мундштуком по серебряной крышке, прикурил. Задумался, держа в пальцах горящую спичку. Неужели же это тот самый поручик Муренцов, который совсем недавно спас его от бандитской пули на каком-то безвестном полустанке? Почувствовав боль в обожженных пальцах, бросил спичку на пол. Встал. Прошелся по кабинету крупными шагами из угла в угол. Папироса погасла, а он все жевал и жевал бумажный мундштук. Костенко передернул плечами, покрутил шейю. Ворот френча душил, перехватывал горло. Срывая ногти, расстегнул тугую верхнюю пуговицу, нижнюю рубашку. За годы германской и Гражданской войны он привык к человеческим смертям. Привык и к тому, что революцию не делают в белых перчатках. Рожденная в крови и муках, она ежедневно требовала новых жертв. Гибли товарищи, в отместку казнили врагов. Костенко подошел к окну, снова закурил. Стоя у окна, сквозь мутноватое стекло он наблюдал за веселыми воробьями, прыгающими перед разлившейся лужей.

Через полчаса конвойный привел в кабинет арестованного поручика.

Приведший его красноармеец топтался у дверей.

Костенко взмахом руки отослал его из кабинета. Муренцов почти не изменился. Те же ясные детские глаза, тонкие черты лица. Костенко не предложил ему сесть. Подошел вплотную, долго смотрел в его глаза, произнес одними губами.

– Завтра утром тебя освободят. В Москву и Петроград не возвращайся, уезжай куда-нибудь в Сибирь, на Урал, хоть к черту на рога. О нашем разговоре забудь. И вот еще.

Отвернулся, подошел к огромному коричневому сейфу, стоящему в углу кабинета, достал из него исписанную тетрадь в коричневом коленкоровом переплете.

– Это твой дневник. Его забрали у тебя во время ареста, и я возвращаю его законному владельцу. Это чтобы ты не говорил, что для тебя бандит и красный одно и то же.

Костенко вернулся назад, сел в свое кресло. Его и Муренцова разделял письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Дорогой стол, из приемной генерал-майора Адрианова, бывшего градоначальника Москвы.

Обоим в голову пришла одна и та же мысль. Стол – это ведь знак. Рубикон, который разделит их отношения на «до» и «сейчас».

Обменялись долгим, пристальным, почти человеческим взглядом. Костенко медленно, с расстановкой выдавил, почти прошептал:

– У-ез-жай. Сергей, уезжай навсегда. Вам уже никогда не победить.

Нажал кнопку звонка.

– Конвой!

Муренцов вскинул на него упрямые глаза, хотел что-то сказать, но опустил голову и молча вышел из кабинета в сопровождении конвойного.

* * *

Гражданская война и причудливая судьба высоко вознесли Алексея Костенко. В середине 20-х годов он стал сотрудником Закордонной части иностранного отдела ОГПУ. Образование и природный ум сыграли большую роль в его карьере. После личной встречи и беседы с Менжинским, занявшим пост руководителя ведомства на Лубянке, он уже в качестве нелегального резидента был переправлен в Германию, а потом под легендой немецкого бизнесмена во Францию. В его задачу входила организация сети агентуры и ее глубокое внедрение в антисоветски настроенные военные организации, состоящие из белоэмигрантов, и объекты военно-стратегического характера Западной Европы. Особое беспокойство Москвы вызывала деятельность Русского общевоинского союза, который после смерти барона Врангеля в 1928 году возглавил генерал Кутепов. С приходом нового руководства РОВС резко усилил свою антисоветскую деятельность. На территорию СССР перебрасывались диверсионные группы, имеющие задачу организации диверсий и терактов, дестабилизации политической и экономической обстановки, убийств политических и военных руководителей Советского государства. В Москве было принято решение о похищении Кутепова и его доставлению в СССР.

В ноябре 1929 года в Париж были направлены лучшие специалисты ОГПУ, специализирующиеся на ликвидациих. В окружение Кутепова под видом представителей германской разведки, заинтересованных в получении развединформации, через разведсеть РОВСа внедрили агентов ОГПУ.

Воскресным январским утром 1930 года генерал Кутепов вышел из своего дома и направился на панихиду по генералу Каульбарсу. Он шел по тихой и зеленой улице де Рюссиле, рассеянно помахивая тростью и совершенно не обращая внимания на двух празднующих молодых людей, оживленно обсуждающих предстоящий вечер у мадам Дортуа. Обогнав генерала, у тротуара затормозил сверкающий хромом и лаком автомобиль. Ослепительно улыбающийся Йоган Галлерт, он же Алексей Костенко, вышел из машины, раскрыв Кутепову свои объятия:

– Майн либер, генерал, чертовски рад вас видеть. Прошу в мое авто.

Заражаясь его доброжелательностью, Кутепов шагнул к открытой дверце автомобиля. Тут же рядом оказались те самые молодые повесы. Прижав к лицу генерала остро пахнувший носовой платок, они затолкали в салон безвольно обмякшее тело. Автомобиль неторопливо тронулся с места, шурша шинами выбрался на шоссе и двинулся в сторону Марселя.

Улицы Парижа в этот утренний час были совершенно безлюдны, и никто не обратил внимания на таинственный автомобиль, увезший русского генерала. Париж, город любви и цветов, еще не привык к этим странным русским, открывающим стрельбу и похищающим друг друга среди белого дня. Невозмутимо насвистывая, Костенко крутил баранку, краем глаза наблюдая в зеркало за тем, как молодые люди сноровисто стянули с генерала пиджак и, закатав рукав рубашки, сделали ему укол в вену. Аккуратно протерев место укола ваткой, один из них уложил шприц в кожаный коричневый саквояж и облегченно произнес:

– Ну, теперь все, часа три будет спать как младенец.

Его напарник молчал, приоткрыв окно, подставив лицо освежающему ветерку. Старший группы Сергей Пузицкий был доволен, пока все шло согласно плану, утвержденному на Лубянке. Генерал был схвачен, теперь его как можно скорее нужно было доставить в Москву.

Через несколько часов автомобиль был уже у портового Марселя. С автомобильного шоссе был виден кусочек лазурного моря, слышались гудки отплывающих пароходов. Не заезжая в порт похитители свернули к кромке берега, где на волне уже качался морской ботик

с людьми, одетыми в морскую форму. Быстро и сноровисто перетащив безжизненное тело в каюту, моряки торопливо отчалили.

Советский пароход уже ждал их на рейде. Дождавшись пароходного гудка о том, что генерал на борту и судно отплывает, Костенко бросил в воду недокуренную папиросу и, натянув на руки перчатки, вновь выбрался на шоссе. Его путь лежал в Германию. Алексей почувствовал комок в горле, глядя на исчезающий в утренней дымке белый пароход, спешащий к родным берегам.

* * *

Летом 1933 года через Житомир проходил эскадрон 30-го кавалерийского полка. Стояло раннее утро, радующее глаз. Блестело солнце на отшлифованных подковами и железными шинами булыжниках мостовой, цокали о камни подковы сытых и справных коней. Серые слепни вились над лошадьми.

К стенам домов жались прохожие. Восхищенными глазами смотрели девушки. Одна из них, худенькая, небольшого роста, в белом платье, стояла на краю тротуара и прижимала к груди книжку. Солнце просвечивало сквозь ткань, и красноармейцы поедали глазами смутные очертания стройных ног и волнующееся кружево нижней юбки.

Перед девчужкой заплясал рыжий конь. Командир эскадрона, с русым чубом из-под кубанки и в накинутаой на плечи черной бурке, птицей склонился с седла.

– Как зовут тебя, красавица?

– Лида...

– А я Иван. Кононов Иван. Буду здесь вечером. В восемь. Жди меня!

Пришпорил коня и умчался догонять эскадрон. Через неделю девушка стала его женой.

Часть вторая

На окраине Константинополя, в маленьком грязном домике с дырявой кровлей и разбитыми окнами, жил генерал Белой армии Яков Слащев, еще при жизни ставший легендой Гражданской войны. Победитель батьки Махно. Командир крошечного трехтысячного отряда, отстоявший Крым зимой 1920 года. Дерзкий и отчаянный генерал, повздоривший в эмиграции с самим Врангелем и разжалованный им в рядовые. Он покинул Крым на последнем военном корабле, успев перед этим буквально впихнуть на уходящий в Стамбул пароход жену с грудной дочерью. Для него все уже было кончено. От былой славы белого генерала остались только воспоминания. Несколько истрепанных фотографий, старый офицерский наган с поцарапанной рукоятью, да совсем не толстая тетрадка в коричневом коленкоровом переплете со стихами собственного сочинения.

Я не знаю зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой...

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника
Обручальным кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам под шумок толковать,
Что пора положить бы конец безобразию,
Что и так уже скоро мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги – это только ступени
В бесконечные пропасти к недоступной весне...

К дому Слащевых вела грязная, посыпанная гравием тропинка. Маленький двор. Темная, вонючая лестница, ведущая наверх. Перед крыльцом хибары пронзительно воняло мочой. Местные обитатели предпочитали справлять нужду тут же у крыльца, а не тащиться через весь двор в загаженный нужник.

Генерал с женой и дочерью жил на жалкие гроши, вырученные от выращенных и проданных на базаре овощей. Он пытался разводить домашнюю птицу, но прогорел. Его проклинали красные и белые, сторонились бывшие союзники. Верными ему остались лишь несколько офицеров. Лежа на металлической кушетке, генерал читал эмигрантскую газету. Она была шурующей на ощупь и пестрела сообщениями о жизни соотечественников:

«Русский генерал Успенский пустил себе пулю в лоб. Причиной послужило то, что его жена, еще совсем недавно почтенная мать семейства, познав эмигрантскую нужду, стала систематически воровать в магазинах».

«Поручик Смердяков покончил жизнь самоубийством, прыгнув вниз головой с Галатской башни».

«Прошлой ночью в пьяной драке зарезан штабс-капитан Ильин».

Генерал с раздражением отбросил газету в сторону.

– Скоты! Во что они нас превратили!

Как же он завидовал своим бывшим сослуживцам, оставшимся в России. Большинство из них продолжали служить, а он, боевой генерал, торговал морковью и кормил индюков!..

В дверь постучали. Пройдя через убогую прихожую в комнату, заглянул полковник Бугаев. Окинул взглядом комод под кружевной накидкой, старое засиженное мухами зеркало. Вешалку, стул.

– Что угодно? – сухо спросил генерал и приподнялся с кушетки. Он был в одном нижнем белье, накинутой сверху шинели.

– А, это ты, Юра? Проходи. Садись.

Бугаев заметил уголок газеты, торчащий из-под кровати. Едко спросил:

– Читаем-с?

– Читал, – точно конфузясь, будто это было какой-то слабостью, ответил Слащев и поджал губы. Потом вдруг взорвался: – Что толку читать наши газеты? Разве мы живем? Мы существуем. Живем как тараканы и так же умираем. А в России идет возрождение великой страны. И я был бы счастлив вновь оказаться там и послужить своей отчизне.

Генерал дернул щекой, горько добавил:

– Но в Россию нам путь заказан, потому что того, что мы сделали с ней, нам никогда не простят.

Полковник Бугаев пристально всмотрелся в лицо собеседника и прищурил глаза. Были они чуть насмешливые и знающие что-то. Чуть помедлив, он достал из кармана сложенную в несколько раз измятую советскую газету.

– Посмотри, Яша. ВЦИК выпустил декрет об амнистии. Всем участникам Гражданской войны обещается полное прощение и гарантируется неприкосновенность.

С газетной страницы Слащеву в глаза бросились строчки:

«...декрет ВЦИК об амнистии участникам белогвардейских военных организаций. Советская власть не может равнодушно относиться к судьбе...»

С окончанием Гражданской войны в СССР так и не закончилась классовая война. В советской России очень внимательно следили за деятельностью эмиграции.

Полковник Бугаев давно уже был завербован советской разведкой. На встрече с резидентом он сообщил в Москву о настроениях Слащева и о его желании вернуться в советскую Россию. Председатель ВЧК Дзержинский долго думал, глядя в заснеженное окно: «А что?.. боевой генерал, золотое оружие за храбрость имеет... Жесток только чрезмерно». На заседании Политбюро он сказал:

– Наши политические враги видят решение всех политических проблем исключительно через призму вооруженной борьбы, поэтому делают ставку на офицерско-генеральский корпус бывшей царской армии. Надо лишить их этой опоры, а для достижения этой цели заманить лидеров эмиграции в Россию.

Дзержинский тут же предложил решить вопрос о приглашении бывших белых генералов, в том числе Слащева, на службу в Красную армию.

Большую часть своего времени русская эмиграция просиживала в кофейнях, где вела бесконечные разговоры о судьбе России, чтобы обмануть свой голод. Услышав о декрете, бывший командующий 4-м Донским корпусом генерал Секретев сказал:

– Что ж, тем лучше. Поеду домой, пусть меня там и повесят. А я все равно вернусь.

Казачи любили генерала Секретева за его храбрость, называли его «наш Секрет». Подвыпившие офицеры тут же поддержали генерала:

– Вместе воевали, вместе и поедем. Пусть вешают всех вместе.

В ноябре 1921 года на итальянском пароходе «Жан» Яков Слащев с женой и ребенком, генералы Мильковский, бывший начальник дивизии генерал Гравицкий, полковники Гильбих, Мезернецкий, князь Трубецкой и еще несколько женщин прибыли в Севастополь, чтобы если и умереть, то быть похороненными на родном погосте.

Вслед за ними вернулось около 4 тысяч человек. Возвращение было полно горькой тоски, женщины плакали. Все понимали, что в прежнюю Россию вернуться было уже нельзя. России, какой она была до их отъезда, уже не стало.

Ранним ноябрьским утром 1921 года к перрону Севастопольского вокзала подошел поезд.

Было холодно. Стояла по-настоящему зимняя погода. Холодный порывистый ветер «борей» заставлял людей хвататься за уши, тереть нос и щеки. Рано выпавший снег накрыл крыши домов, рельсовое полотно и кирпичные пакгаузы белым одеялом. Ежились от мороза покрытые инеем ветки кипарисов. Сидевшие на деревьях птицы застыли, нахохлились. Только что подошедший паровоз шумно и запалено дышал, окутанный облаком белого пара.

Отдельно от встречающих и толпы пассажиров, одетых большей частью в серые солдатские шинели, одиноко стоял уже немолодой человек в длинном пальто, напоминающем шинель. В глазах его стояли боль и тягучая тоска, как у бездомной собаки. Это был генерал Слащев. Жена и сын остались у знакомых на севастопольской квартире, а он ждал встречи с Дзержинским. Занятый своими мыслями, генерал не услышал объявления о прибытии поезда, и лишь когда перед ним пыхтя прокатился паровоз и замелькали вагоны, он поднял взгляд на запотевшие окна вагонов – высокий, худой и растерянный.

Пассажиры с узлами и торговцы ринулись к поезду.

У одного из вагонов не было никакой очереди. Все чинно. Только лишь заскрипели отжимающиеся колодки, как со скрежетом отворилась дверь вагона и клубы морозного пара хлынули внутрь. В проеме двери возникла фигура полноватого проводника в черной форме. Он протер тряпкой латунные ручки дверей и застыл сбоку от выхода. Из вагона вышел человек в кожаной куртке и с потертой кобурой нагана на портупее. Оркестр заиграл «Интернационал», но человек требовательно поднял вверх руку. Постоял, выжидая, когда смолкнет оркестр. Музыканты сбились, пискнула валторна, невпопад бухнул барабан. Кожаный человек негромким голосом объявил:

– Товарищи, спасибо за прием. К сожалению, председатель ВЧК товарищ Дзержинский не сможет к вам выйти. Он работает, а мы через минуту отправляемся.

Повернулся к Слащеву.

– Яков Александрович. Пройдите в вагон. Вас ждут.

Паровоз спустил пар, раздался свисток, кондукторы с грохотом захлопнули двери. Поезд тронулся, и на заснеженном перроне вокзала осталась лишь суетливая толпа пассажиров, носильщики с бронзовыми бляхами на груди и чистильщики обуви.

Поезд медленно набирал ход. Колеса вагона торопливо выстукивали:

– До-мой... до-мой... в Россию.

– Домой, – повторял генерал, шагая по красной дорожке правительственного вагона, точно по плацу. Сердце учащенно билось. Дрожали руки.

Дзержинский, увидев Слащева, встал, протянул ему руку:

– Проходите, Яков Александрович.

Все дорогу до Москвы они проговорили. Дзержинскому пришлось по душе резкие безапелляционные выводы Слащева относительно Гражданской войны, острые характеристики белогвардейских генералов – Врангеля, Деникина.

Эмиграция, узнав о том, что генерал Слащев добровольно вернулся в Россию, была потрясена: самый кровавый враг Совдепии покорился врагу! «Непримиримые» тут же приговорили его к смертной казни. Узнав об этом, генерал только пожал плечами и проронил:

– Меня все равно убьют, какая разница, кто и где.

В Москве Якова Слащева, по ходатайству Дзержинского, назначили преподавателем Военной академии, но слушатели из красных командиров относились к нему враждебно, помня о том, как зверствовали и рубились слащевцы во время Гражданской войны.

Вскоре его перевели в школу комсостава «Выстрел». В то время это была главная кузница военных кадров страны.

Генерал-лейтенант Слащев слыл человеком неудобным для светских бесед. Резал правду-матку в глаза. С красными командирами тоже не церемонился, вел себя резко и вызывающе. Ходили слухи, что даже на курсах обещал кому-то выписать двадцать пять шомполов. Впрочем, точно так же он в прошлом вел себя и с белыми генералами – Деникиным, Врангелем. До поры до времени все это сходило Слащеву с рук.

Однажды после занятий он с преподавателями зашел в пивную. Изнутри пахло запахом копченой рыбы, пива и табачного дыма. В углу за столом, уставленным пивными кружками и бутылками, сидели несколько слушателей курсов в длинных кавалерийских шинелях с синими клапанами. Среди них же находился и комкор Жлоба. Они о чем-то спорили, но разом, как по команде, замолчали, увидев перед собой Слащева. Подвинулись, освобождая места для вновь вошедших. Повисла неловкая пауза.

– Ну-с, господа... пардон, товарищи красные командиры, и по какому же поводу спорим? – усаживаясь за стол и доставая папиросы, спросил Слащев.

– Вопрос один, – тут же завелся уже нетрезвый Жлоба. – Почему, господин генерал, сиволапые фельдфебели и прапорщики военного времени выиграли войну у вас, выпускников академий, считавших себя военными с пеленок.

– Что ж, охотно вам отвечу, Дмитрий Петрович, – Слащев нахмурился. Прикурил. – Эту войну выиграли не сиволапые фельдфебели, как вы изволили выразиться, а простой русский мужик. Он – главная сила в России. На нем все держится. Мужик Россию кормит и защищает.

Слащев глубоко затянулся папиросой и выпустил изо рта лохматое облако сладковатого дыма.

– Генерал Кутепов был прав, когда говорил о том, что победить можно лишь при условии, если дать мужику виселицу и землю... Мы в избытке дали первое, вы же оказались хитрее и пообещали вдобавок еще и землю. А мужик легковерно поверил вашим обещаниям и пошел воевать за вашу власть.

Генерал брезгливо пососал погасшую папиросу. Не спеша чиркнул спичкой, прикурил вновь.

– Что же касается лично меня, то я вам никогда не проигрывал. Напротив. Это я вас бил. Бил на Кавказе, бил в Крыму и вообще везде, где только встречал. Вот бегали вы хорошо, не спорю.

Жлоба вскочил с места, рванул ворот френча, закричал:

– Да не нашим обещаниям поверил мужик, он просто ужаснулся тому, что вы делаете! Это же вас называли и называют генералом-вешателем!

Слащев по-прежнему оставался невозмутим.

– Врете, голубчик. Врете так же, как и ваши комиссары. Вешал я не крестьян, а своих офицеров, допустивших мародерство, грабеж, воровство, дезертирство и трусость. Погубительством крестьян я не запятнан.

Несколько раз подряд затянувшись папиросой, он ткнул пальцем в сторону Жлобы.

– А вот вы, товарищ ком-ко-ор, лучше вспомните, как по вашему приказу под Харьковом бойцы Стальной дивизии после боя расстреляли 50 раненых офицеров. Что?.. Скажете, не было такого? Тогда расскажите, как по вашему распоряжению пороли плетью дважды георгиевского кавалера Цапенко?

Слащев умолк. Все обернулись к Жлобе, ожидая его реакции.

Трясущимися руками комкор резко вырвал из кобуры наган и нажал на курок. Выстрел. Тупоголовая пуля просвистела у виска Слащева.

– Вот так вы и воевали, – усмехнулся он, гася окурок в пепельнице, – так же, как сейчас стреляете!

И было в этой жесткой усмешке горькое сожаление от того, что прозрение пришло слишком поздно.

Жлоба буквально затрясся от ненависти, но ничего не ответил. Хлопнул дверью и выскочил за дверь. Комкор был человеком военным, помнил приказ командования – Слащева не трогать.

– Ладно, сука! Поживи пока, – успокаивал себя взбешенный комкор, – я сегодня добрый.

Звеня шпорами, он сбежал с крыльца и в сгущающихся сумерках зашагал в общежитие, где жили слушатели Высших командирских курсов. Пронзительно скрипел снег под ногами, сыпало кашлял и скреб метлой улицу нетрезвый дворник.

Над Кремлем горели кроваво-красные звезды, и казалось, что над всей Россией зажглась кровавая звезда.

* * *

Вернувшимся в красную Россию генералам было обещано, что их боевой опыт будет использован при создании вооруженных сил республики. Но советская власть обманула. Как всегда...

Не судьба была русским офицерам и генералам вновь послужить России и повести своих бойцов в атаку на новой войне. В первый же год после возвращения в подвалах ОГПУ расстреляли почти две тысячи белых офицеров и эмигрантов, поверивших призывам советской власти и вернувшихся в Советскую Россию.

В январе 1929 года в квартиру, где жил Яков Слащев, ворвался бывший комвзвода Красной армии Лазарь Коленберг и всадил ему в грудь несколько пуль. На допросах он показал, что мстил за расстрелянного Слащевым брата. Коленберга признали душевнобольным и не судили.

14 августа 1930 года по Москве прокатилась волна массовых арестов. Были схвачены бывшие генералы Секретев, Савватеев, Бобрышев, Николаев, Зеленин, а через две недели к ним присоединился и Гравицкий. В эту же компанию попал и генерал Редько, бывший командующий Тобольской группой войск в армии адмирала Колчака.

Страшный конвейер работал днем и ночью. В Москве, Ленинграде, крупных городах, небольших поселках и селах день и ночь шли аресты. Арестовывали всех, кто критически воспринял советскую власть, бывших офицеров, участников Белого движения, контрреволюционеров, священников, дворян. Всем им вменялись в вину подготовка вооруженного восстания и шпионаж. Вскоре генерал Секретев был расстрелян.

Вместе воевали, вместе домой поедем, вместе нас и повесят – говорил он своим казакам. Все именно так и вышло.

* * *

После расправы за восстания и участие в Гражданской войне Дон, Кубань и Северный Кавказ – омертвели. Дикой травой заросли земли казачьего Присуда.

Мертвой тишиной и безлюдьем веяло от опустевших станиц. Обезлюдившие дома и куреня заселили переселенцами из Центральной России. Жалкие остатки казаков, вместе с прибывшим народом, владели голодное и жалкое существование и колхозах.

Запрещено было не только слово «казак», под запрет попали казачья форма и лампасы. Арестовать могли за все: за анекдот, неосторожное слово, даже за исполнение старинных казачьих песен. Были преданы забвению заслуги казаков в сражениях с врагами России. На службу в Красную армию казаков не призывали, как «верные псы царского самодержавия» они были поражены в правах.

И вдруг совершенно неожиданно Сталин принял решение о переименовании кавалерийских дивизий в казачьи и о призыве казаков на службу.

Хитер был вождь всех времен и народов. Назревающая внешняя угроза заставила вспомнить, что казак – это не только землепашец, но и прирожденный воин.

Накануне Великой Отечественной войны начался процесс пересмотра устоявшегося «партийно-классового» взгляда на казачество.

А может быть, толчком для этого решения послужила встреча в Кремле с делегацией казаков Вешенского района? В середине тридцатых годов казаков по инициативе Михаила Шолохова пригласили в Москву, для того чтобы они спели и сплясали перед советскими вождями.

Родовой казак Тимофей Иванович Воробьев, приехавший с делегацией, бойкий как кочет, не оробел. Сияя выцветшими ликующими глазками, он преподнес Сталину пышный донской калач на вышитом рушнике. Снял с головы донскую фуражку, поклонился в пояс.

– Милушка ты наш, дорогой товарищ Сталин, – соловьем заливался Тимофей Иванович, потрясая бородой и серебряной серьгой в левом ухе. – Вот тебе подарок, любушка ты наш! Вручаем его тебе как нашему самому почетному, истинному и без всякого подмеса казаку.

Сталин расцвел. Пыхнул трубкой и спрятал усмешку своих желтых тигриных глаз за облаком дыма. Подумал, потом важно сказал, что он не казак. Но с удовольствием станет им, если казаки на своем казачьем Кругу посчитают его достойным казачьего звания.

Мартовским вечером 1936 года около полуночи Сталин, как всегда, не спал. Мягкими тигриными шагами он ходил по своему кабинету. Позвонил секретарю:

– Пригласите ко мне товарища Ворошилова.

– Есть, товарищ Сталин.

Сталин опустился в кресло, взял в руки трубку. Неторопливыми движениями сломал две папиросы, выкрошил табак. Кивнул вошедшему Ворошилову:

– Здравствуй, Клим. Проходи, садись.

– Здравствуй, Коба.

Сталин не терпел панибратства. И только Ворошилов мог называть его «Коба». Как во время Гражданской войны.

Неторопливо набил трубку, прикурил, встал с кресла и начал неспешно прохаживаться вдоль стены.

– Клим, ты помнишь, как мы били казаков?

Память у Ворошилова была хорошая. Он помнил, как в мае 1919 года казаки генерала Шкуро сначала разбили его под Екатеринославом, а потом гнали к Днепру как паршивого кобеля. Первый красный офицер и красный маршал за всю Гражданскую войну не выиграл ни одного сражения.

– Да, Коба. Хорошо помню. Дали мы им жару!

Сталин пыхнул трубкой. Спрятал за облаком дыма лукавую усмешку.

– Как ты считаешь, красный маршал, казаки хорошие воины? Можэт Советская власть доверить им оружие?

Ворошилов встал:

– Ты же знаешь, Коба, это враги. Сколько волка не корми!..

Сталин погрозил пальцем:

– Ты, Климентий, нэ переноси свою личную обиду на целый народ. Да! Казачество было оплотом самодержавия и нашим злейшим врагом.

Сталин говорил короткими фразами, обдумывая каждое слово.

– Но... За 19 лет Советской власти в тех местах, где жили казаки, народилось новое поколение уже советских людей, и в случае войны они будут самоотверженно сражаться за свою страну. Как когда-то сражались их предки. Не забывай о том, что скоро нам понадобятся новые дивизии храбрых и отважных воинов.

Сталин сел за свой стол, открыл папку, потом поднял голову, улыбнулся в усы:

– К тому же, знаешь, я ведь тоже казак. Недавно донцы прислали мне в подарок шаровары с лампасами. Ты хочешь сказать, что я тоже враг?

Ворошилов опять вскочил с места.

– Никак нет, товарищ Сталин!

Сталин прищурившись смотрел на наркома обороны.

– Подготовьте приказ по наркомату о переименовании нескольких кавалерийских дивизий в казачьи. Надо, чтобы эти дивизии комплектовались призывниками с Дона, Кубани, Ставрополя. Командирами надо поставить проверенных в деле кавалеристов, безгранично преданных коммунистической партии и Советской власти. И обязательно введите им специальную казачью форму – черкески, кубанки. Казаки это любят!

Ворошилов вытянулся:

– Слушаюсь, товарищ Сталин!

– Исполняйте!

На следующий день Ворошилов положил на стол Сталина окончательный вариант приказа. Сталин молча вчитался в бумаги, внес несколько поправок. Потом прошелся по кабинету, долго и медленно набивая трубку, чиркнул спичкой и после этого чуть искоса, исподлобья посмотрел на Ворошилова.

– Подписывай.

23 апреля 1936 года вышел приказ Наркомата обороны СССР за подписью Климента Ворошилова о присвоении некоторым казачьим дивизиям статуса – казачьих. Казачество было частично восстановлено в правах.

Казалось, что советская власть повернулась к казакам лицом. Время затянуло казачьи раны, притупило боль и примирило с теми, кто эту боль причинил. Только лишь старики хранили память о пролитой крови и передавали ее своим внукам да поминали в своих молитвах родных покойников в старых могилах, уже заросших травой, вишняком и бурьяном. Но вековые казачьи традиции, основанные на воинской славе прежних поколений, заставляли молодых станичников, шедших на службу, гордиться службой хоть и в «красной», но «казачьей» части.

По направлениям райкомов партии и комсомола военкоматы призывали как казаков, так и иногородних. Различий и противоречий между ними уже не было. После империалистической войны многие из «пришлых» вернулись в станицы с унтер-офицерскими нашивками, георгиевскими крестами и медалями.

Старые казаки говорили:

– А чего же им не быть такими боевыми? Столько лет ведь среди казаков живут, вот и набрались казацкого духа!

Прожив долгие годы рядом с казаками, иногородние и правда переняли не только их быт, но и обычаи. Они вжились в казачью жизнь, прикипели к ней. И вместе с казаками испили до дна горькую чашу. Многие из пришлых, так же как и казаки, были раскулачены,

арестованы, высланы. Случалось, что прежде враждовавшие мужик и казак теперь одной пилой валили сосны на лесоповале или шли одним этапом на Колыму, в Сибирские или Казахстанские лагеря.

В один день кавалерийские части, в которых служили в основном крестьяне, призванные из всей России, стали именоваться казачьими.

И все же те немногие казаки, призванные с земель Тихого Дона, Кубани, Терека, зарекомендовали себя в казачьей дивизии как отличные бойцы и младшие командиры. На них равнялись красноармейцы и младшие командиры «иногороднего» происхождения. Однако среди высшего и среднего состава дивизии выходцев из казаков было очень немного.

По указанию Сталина в казачьих частях была принята униформа дореволюционных Кубанского и Терского казачьих войск, черкеска с красными или синими обшлагами рукавов и рядами серебряных газырей на груди. Сметливые бойцы быстро приспособили их под хранение свернутых трубочкой писем из дома. Под черкеской носился бешмет, вместо уставных кавалерийских сапог – мягкие кавказские. Кавказская шашка, круглая кубанка с красным или синим донцем, переkreщенным галуном. К зимней форме одежды полагалась черная бурка-«крылатка» и башлык, который как птица развевался за спиной.

Но весной 1941 года ношение традиционной казачьей формы было отменено по приказу Сталина. Единственное, что сохранили казаки, это головной убор – кубанку. Они ходили в ней и зимой, и летом, независимо от рода войск. Командование смотрело на это сквозь пальцы.

6-ю Чонгарскую кавалерийскую дивизию тоже переименовали в казачью Кубанско-Терскую Краснознаменную дивизию имени Буденного. В марте 1941 года в дивизию прибыл новый командир, генерал-майор Михаил Петрович Константинов, ранее командовавший горно-кавалерийскими частями. В его жилах не было казачьей крови, происходил из крестьян Липецкой губернии. Был невысок ростом, но зато обладал пышными казачьими усами и зычным атаманским голосом. Глотка у него была луженая. Казаки шутили, что их батяка может перепить и переорать целый кавалерийский полк, вместе с лошадьми. В дивизии любили рассказывать историю о том, как однажды комдив распекал на плацу нерадивого интенданта.

– Тебя что, батяка с мамкой поперек кровати делали? Почему у коней нет овса? Я тебя самого заставлю жрать солому! – кричал разгневанный комдив, и его голос гремел как труба полкового оркестра.

Это был храбрый и толковый командир, которого казаки любили и уважали.

В Красной армии после сталинско-ежовских чисток дивизиями и корпусами РККА зачастую командовали вчерашние капитаны и майоры.

– Ничего страшного, – говорил нарком Ворошилов. – Кто командовал хоть взводом, тот может командовать и армией.

* * *

Победа большевиков в Гражданской войне означала катастрофу для всех народов России. Первыми взошли на Голгофу казаки. Большевики выслали из станиц множество казачьих семей. Их дома и куреня заняли пришлые люди из центральной полосы России, в том числе и те, кто стрелял, вешал, жег и ссылал в Сибирь настоящих хозяев.

Но, уничтожив мнимых врагов России, кровавое чудовище стало пожирать уже тех, кто выпустил его из бутылки. Тех, кто сам во имя революции стрелял, вешал и убивал русских людей, рушил и сжигал церкви. Только лишь после краха собственной судьбы до многих из них стало доходить пророчество Жоржа Дантона: «Не шутите с революцией. Рано или поздно она начнет пожирать своих детей».

Во многих домах прочно поселился страх. Жены, провожая мужей на работу, прощались с ними навсегда. Возвращение вечером с работы было всего лишь краткой отсрочкой неизбежного. Не было семей, где не вздрагивали бы по ночам от шума автомобильного мотора и хлопанья дверей кабины.

Сергей Муренцов не вернулся в Москву. Он осел в небольшом южном городке, далеком от большой политики и знаменитом лишь своими целебными источниками. Устроился на работу в городскую школу преподавателем русского языка и литературы. Не интересовался оппозицией, не вступал в партию, своевременно оплачивал профсоюзные взносы. На собраниях послушно поднимал руку.

В начале 30-х он женился, отпустил чеховскую бородку. Его жена, Галина Андреевна, работала фельдшером в городском санатории, как сказала сама – сестрой милосердия.

Муренцова будто толкнуло в грудь – сестра милосердия. Как Мария, Маша, Машенька. Женщина из его прошлой, другой, настоящей жизни. Она и внешне походила нее. Русые волосы, зеленые глаза. Познакомились они случайно, во время прогулки в городском парке.

Ничто не напоминало Муренцову о его прошлом. Он присвоил чужую жизнь, придумал себе другую биографию и иное прошлое. Старая жизнь была забыта. Прежние хозяева жизни канули в Лету, и казалось, что советская власть, власть вчерашних бандитов, воров и пьяной черни, которую он ненавидел всей душой, установилась навсегда.

Изредка доносились слухи о голоде в Центральной России, крестьянских волнениях, бесконечных заговорах в политическом руководстве страны, арестах и расстрелах видных большевиков, но Муренцов только усмехался про себя.

«Один крокодил съел другого. Теперь надо просто подождать, и тогда увидим, насколько успешно прошло переваривание».

В начале тридцатых Сергей Сергеевич пытался осторожно выяснить судьбу своих близких. По слухам, его родители и десятилетняя Катенька успели выехать из Москвы. Пути русской эмиграции в страшные двадцатые лежали в Берлин, Париж, Харбин. Оставалось только надеяться, что Бог и судьба уберегли его близких от пули в подвалах ЧК или сыпного тифа где-нибудь на забытом Богом железнодорожном полустанке.

Жена была моложе Муренцова на восемь лет, но любви между ними не было.

От нее почему-то всегда пахло запахом деревенского магазина – кожи, земляничного мыла, духов «Белая сирень» и селедки. С присвистом дышала во сне. Может быть, у нее были в носу полипы? Он не спал ночами, курил папиросы и вздыхал. Почему она? Где я нашел ее?

И спрашивал сам себя: «И это сестра милосердия?»

И сам же отвечал на свой вопрос: «Нет, все же медсестра».

Со временем семейная жизнь стала тяготить обоих. Она ревновала к отсутствию его любви. А он ничего не мог с собой поделать.

Прав все-таки был старик Карамзин – не выйдет ничего хорошего из любви офицера и крестьянки.

В 1940 году у Муренцовых родился сын. По традиции семьи Муренцовых первенца называли Сергеем. У Сергея Сергеевича наконец-то появился смысл жизни. По вечерам он проверял школьные тетрадки, а маленький Серж Муренцов радостно гукал, лежа в кровати и пуская ртом пузыри. Все это наполняло сердце давно уже позабытой нежностью.

* * *

Утром 21 июня 1941 года в кабинете командующего 10-й армией раздался звонок командующего Западным особым военным округом.

– Что там у тебя происходит, Голубев? – рыкнула трубка голосом генерала армии Павлова. – Твой Никитин прямо-таки завалил меня своими донесениями, дескать, со дня на день

будет война... С кем война? С Гитлером? Ты там прочисти мозги своему подчиненному. Объясни ему, если он в Академии плохо учился, что войну с трехмесячным запасом боеприпасов не начинают. Или, по мнению Никитина, Гитлер собирается победить СССР за три месяца?

Несколько минут Павлов молчал, слушая оправдывающегося Голубева.

– Ладно, ладно. Не трясись, как гимназистка перед пьяным унтером. Лучше наведи порядок у себя в войсках. А я сегодня в театр с женой. Тебе бы тоже не мешало повысить свой культурный уровень, вместо того чтобы баранов у себя разводить.

Командующий армией Голубев любил пить по утрам парное молоко, поэтому в подсобном хозяйстве при ближайшей воинской части всегда держал небольшое хозяйство. Пару коров для личного пользования. Небольшую отару овец, на шашлыки. Парочку свиней на колбасу. Небольшой коптильный заводик. Это для тела. А для души – жену майора Ступина, работающую официанткой в столовой для комсостава. Павлов это знал. Особист все уши прожужжал. Но не трогал.

Не слушая оправданий, Павлов перебил:

– В общем, не беспокой без дела. Будь здоров.

21 июня в Ломжинском доме офицеров провели ежегодный праздничный вечер с танцами и банкетом по случаю выпуска младших лейтенантов. На следующий день, в воскресенье, ожидалась дивизионные и корпусные конноспортивные соревнования.

В кабинете командующего Западным особым военным округом стоял полумрак. Окна были задернуты плотными шторами. На закрытых дубовыми панелями стенах расположились портреты членов ЦК, посередине кабинета большой Т-образный стол, рядом с которым – приставной столик с десятком телефонов. Один из них, массивный, белый, с государственным гербом Союза ССР вместо диска, стоял чуть в стороне.

У телефонного аппарата, того самого с гербом, стоял навтыяжку генерал армии Павлов.

– Никак нет, товарищ Сталин. Это работа провокаторов и паникеров. Примем меры. Так точно. Будут наказаны самым строгим образом. Я полностью контролирую ситуацию... Есть не давать повод для провокации! Служу трудовому народу!

Осторожно, словно боясь потревожить собеседника на другом конце провода, Павлов опустил телефонную трубку на рычаг. Опустился в кресло, расстегнул крючок кителя, вытер мокрое, покрытое испариной лицо.

– Фу-ууу!.. Пронесло... – Взгляд командующего упал на утреннюю оперативную сводку, лежащую на столе.

– Блядь! Какой-то комкор Никитин! И какой-то сраный комдив 6-кавалерийской!.. Как там его фамилия, Константинов?.. Не нравится им, видишь ли, положение на границе! Да сам товарищ Сталин приказал не поддаваться на провокации!

Павлов вспомнил недавний телефонный разговор с заместителем наркома Григорием Куликом. В ходе разговора тот обронил словно невзначай:

– Не забывай, что округом командовать – не клинком махать.

– Вроде не забываю, товарищ маршал, – насторожился Павлов. – А вы о чем?

– Да о том, что слишком истеричные разведсводки из твоего округа поступают.

– Мы просто фиксируем факты, товарищ маршал, – нашелся Павлов.

– Вот так всегда, поначалу фиксируют, а потом кто-нибудь возьмет да и пухнет по немецкому самолету... Смотри, казак, не сносить тебе головы, если дашь повод для военного конфликта.

– Спасибо, Гриша, что предупредил по старой дружбе.

Павлов скомкал сводку и бросил ее в мусорную корзину.

«На хер обоих. Прямо завтра же вызову в штаб, и с глаз долой. Пусть едут в Сибирский военный округ, один на полк, второй на дивизию. И пусть Бога молят, что не передаю дело в особый отдел».

После совещания Павлов заехал домой. Сняв китель и оставшись в белой рубашке, расхаживал по квартире в галифе и сапогах. Потом побрился, вылил пригоршню одеколona на лицо и голову. Оглядел себя в зеркало – широкие плечи, решительный волевой подбородок – командующий! Надел парадный китель со Звездой Героя, пятью орденами и значком депутата Верховного Совета СССР. Личный водитель привез домой жену. Квартира сразу же наполнилась звуком ее голоса. Александра Федоровна что-то щебетала о дочери, о предстоящем спектакле, о портнихе. Дмитрий Григорьевич слушал вполуха, переспрашивал невпопад. Почему-то не давал покоя этот Никитин со своими донесениями. Генерал решил, надо обязательно послать в корпус проверяющего и тот на месте решит, что делать. Отправить на понижение или передать дело в особый отдел. Приняв решение, Павлов повеселел. Через два часа должна была состояться премьера «Свадьбы в Малиновке» и встреча с божественной Наденькой, играющей Яринку.

В час ночи 22 июня 1941 года оперативный дежурный передал генералу Павлову указание наркома обороны, полученное по ВЧ, утром собрать начальников управлений и отделов и странное предупреждение: «...сохраняйте спокойствие и не паникуйте... ни на какую провокацию не идите».

Павлов погладил ладонью бритый затылок и удовлетворенно крикнул, вспомнив командира 6-й дивизии:

– Герои! Мать их... Паникеры. Завтра я им устрою!

Довольно напевая партию Яринки и позевывая, пошел спать.

Ради счастья – ради нашего...

Если – хочешь ты его.

Ни о чем меня – не спрашивай...

Не расспрашивай...

Не выспрашивай...

В то же самое время командира 6-й кавдивизии генерал-майора Константинова, заночевавшего в штабе, разбудил звонок начальника 87-го погранотряда.

Майор Горбатюк доложил, что уже несколько часов наблюдатели фиксируют активную концентрацию больших сил германской пехоты на польской стороне границы.

– Что там у тебя происходит? – резко перебил его комдив. – Поясни, к чему клонят?

– Не знаю, Михаил Петрович, – совсем не по-уставному растерянно ответил майор. – Похоже, замышляют что-то!

– Ты держись, Иван, сейчас организую тебе подмогу.

На свой страх и риск Константинов приказал подтянуть к границе два эскадрона 3-го Кубанского Белореченского полка и два танковых взвода. Доложил командиру 6-го кавалерийского корпуса генерал-майору Никитину. Тот вызвал командира дивизии к себе.

– Давай-ка, Михаил Петрович, приезжай ко мне. Подумаем еще раз о том, что будем делать, если немцы все же полезут к нам, – сказал Никитин, моргая красными воспаленными глазами.

Генералы склонились над картой. Казаки, за исключением наряда и караулов, спали в казармах, даже не подозревая о том, что для многих из них эта ночь окажется последней.

Бодрствовали дежурные в штабах частей и соединений. В металлических сейфах ждали своего часа опечатанные тяжелыми сургучными печатями красные конверты, с боевыми приказами на случай войны. Никто не знал, что написано в этих приказах, команда на вскрытие пакета должна была поступить по телефону из вышестоящего штаба. Вскрыть пакет имел право только командир. Лично. Но была уверенность. Высшее командование все предусмотрело. В конвертах уже все прописано. Что делать! Как побеждать!

На пограничном аэродроме Высоко-Мазовецк бодрствовали летчики дежурного звена и часовые. Наступало утро, линия горизонта на востоке слегка окрасилась розовым.

Командир дежурного звена младший лейтенант Кокорев лежал под крылом самолета, покусывал травинку. Вокруг стояла предрассветная тишина, лишь в траве певуче стрекотали кузнечики.

Как всегда, не спали работники Наркомата внутренних дел. Они были заняты своей обычной важной работой: арестовывали «врагов народа», проводили допросы или расстреливали тех, кто подрывал устои и мощь Советского государства.

Небо из черного постепенно наполнялось серыми красками. Приближался четвертый час утра. Страна готовилась встретить воскресное утро. Досматривая последние сны, сладко посапывали в своих кроватках дети. В предвкушении долгожданного выходного дня храпела, сопела и вздыхала во сне вся советская страна.

Ночь.

Далеко от границы, за лесами и балками, закованная в камень – спала Москва. Над нею светились половодье электрических огней. Их трепетное мерцание заревом голубого пожара висело над многоэтажными домами, затмевая свет полуночного месяца и звезд. На Красной площади, в гранитном Мавзолее, лежит основатель Советского государства Владимир Ленин. А за Кремлевской стеной в своем кабинете до самого утра не смыкал глаз товарищ Сталин. Думал о том, как сделать СССР еще более могучим и несокрушимым, как окончательно и бесповоротно извести всех врагов.

Немецкие танки уже выстроились в колонну. Друг за другом. Растянулись на многие сотни метров. Уже были сняты чехлы со стволов пушек и пулеметов. Ожидая команды «вперед», торчали из люков головы командиров танков.

Командир 31-й дивизии вермахта генерал-майор с русской фамилией Калмыков и немецким именем Курт уже проинструктировал своих офицеров о действиях на случай получения приказа о переходе Буга.

Солдаты и офицеры 12-го армейского корпуса заняли позиции в километре от границы.

Диверсанты полка «Бранденбург-800», переодетые в форму командиров Красной армии и НКВД, ждали условного сигнала на территории Советского Союза.

Командир 2-й роты обер-лейтенант Штрик серебряным карандашом, подаренным любимой Софи, сделал запись в своем дневнике:

«Через два часа наши доблестные войска перейдут русскую границу и надерут уши русскому медведю. Я могу умереть через час, два, месяц или прожить еще много, много лет. Но если мне суждено умереть на этой войне я буду счастлив, что умер за великого фюрера!»

Командир 3-й танковой дивизии генерал-лейтенант Вальтер Модель сидел за столом. В пепельнице серой пепельной горой дымились сигаретные окурки. Ярko светила настольная лампа. На улице тарахтел генератор. На столе – расстеленные карты. На приставном столе стояли несколько полевых телефонов. У генерала было встревоженное лицо, бледное, со складками над переносицей. Он сидел прикрыв веки. Терпеливо ждал приказа о наступлении. Через несколько часов русский колосс должен был рухнуть под ударами его гранатеров. Но какая-то смутная тревога терзала его сердце.

«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью», – предупреждал когда-то великий Бисмарк.

Модель думал. Мысли, не связанные с текущей реальностью, неторопливо текли в его сознании.

«Христос тоже говорил правильные слова, но кто Его слушал?! Кто смог что-либо изменить? И мне тоже вряд ли удастся что-либо изменить. Я – солдат, и мое дело – держать руки по швам».

Тишину разорвал телефонный звонок. Ровно через минуту, вспугнув робкую предутреннюю тишину, взревели моторы танков, лязгнули гусеницы. Танковая колонна, грозно рыча, двинулась в сторону границы. Низкие тяжелые «панцеры» вминали в землю свежую

июньскую траву. Тускло отсвечивала в свете прожекторов влажная от ночной росы броня танков.

По иронии судьбы на Русскую землю шли именно те танки, которыми командовал дальний родственник основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина.

Уже были подтянуты и нацелены на СССР страшные, сверхтяжелые орудия 1-й и 2-й батарей 833-го дивизиона – «Адам», «Ева», «Карл».

Около двух часов ночи 22 июня 1941 года в посольство Германии в Москве поступила зашифрованная телеграмма из Берлина. Послу поручалось утром посетить народного комиссара иностранных дел Молотова и сообщить ему о начале военных действий Германией. В телеграмме также содержалось указание уничтожить последние шифровальные тетради. Работники посольства Германии в Москве всю ночь паковали вещи, уничтожали и жгли секретные документы.

Этой же ночью советский военный атташе в Германии Василий Иванович Тупиков прислал сообщение, состоявшее всего из одного слова, которое не нуждалось ни в какой расшифровке: «ГРОЗА!»

В половине четвертого утра товарищ Сталин уехал на Ближнюю дачу. Ему не спалось. Руководитель Советского государства прошел к себе в кабинет и не раздеваясь прилег на диван. Терзаемый мыслями, долго лежал без сна, молча смотря в потолок.

Примерно в то же самое время из штаба Западного военного округа по телефону был получен приказ «вскрыть красный пакет», что означало подъем войск по тревоге и выдвижение на намеченные им рубежи обороны.

Командованию корпуса была доведена запоздалая «Директива командующего войсками Западного особого военного округа с объявлением приказа Народного комиссара обороны о возможности внезапного нападения немцев в течение 22–23 июня 1941 года».

Для взвинченных до предела командиров частей это неожиданно стало облегчением. Но из штаба был отдан приказ: «Находиться в боевой готовности. Личный состав из казарм не выводить».

Начальник штаба 94-го Кубанского полка майор Владимир Гречаниченко, узнав о приказе, долго матерился и кричал:

– Это какая же сволочь додумалась до такой измены?!

Наступил рассвет 22 июня 1941 года.

Линия горизонта на востоке начала медленно розоветь. В низине клубился легкий туман. Скоро должны были проснуться и запеть птицы. Именно в этот момент раздался тяжелый, прерывисто-надрывный гул моторов.

Гул бомбардировщиков разбудил жену капитана Ракитина. Она накинула ситцевый халатик на ночную сорочку, плотнее прикрыла форточку. Подоткнула одеяло на детской кровати, где спала маленькая Оля. Поправила подушку под головой сына Бориски. Подумала про себя:

– Учения... Вот и Николай ночевать не пришел, прислал красноармейца с запиской, что заночует в полку.

Вышла в коридор. В заставленном вещами и сундуком коридоре было тихо. Лился желтый свет от тусклой, засиженной мухами лампочки, свисающей на скрученном проводе с высокого потолка.

Гул моторов все ближе, ближе. Заревела сирена.

По спине пробежал холодок тревоги. Она села на прохладную крышку сундука, уже чувствуя приближение беды.

* * *

В казарме на тумбочке затрещал телефон. Дневальный вырвался из полудремы, схватил трубку телефона.

– Дневальный по эскадркрасноарм...

Крик на том конце провода оборвал его скороговорку.

– Какого х...ра ты еще стоишь, дневальный! Поднимай людей! Боевая тревога!

Человек с красной повязкой на рукаве вбежал на середину казармы. Оглянулся на двухэтажные кровати, тумбочки, фикус, стоящий в углу казармы, и закричал:

– Эскадрон, подъем! Боевая тревога!

Этот крик оборвал все – сны, прошлую жизнь, мечты.

Крик дневального и вой сирены застали красноармейцев неподвижно лежащими под одеялами. Через секунду уже отрывались от подушек стриженные головы, отбрасывались в сторону одеяла, мелькали босые ноги. Бойцы, еще не успев вырваться из пелены домашнего сна, с полужакрытыми глазами на ощупь хватали штаны, наматывали обмотки.

Помкомзвода сержант Борзенко за месяц до армии успел жениться. В коротком солдатском сне пришла любимая жена Лиза. Она звала его к себе: «Борзик, ну где ты, Борзинька» и тянула его руку к себе на живот. А он трясущимися руками уже торопливо рвал пуговицы на ее платье... И тут на самом интересном месте раздался крик дневального. Сержант открыл глаза – чертыхнулся:

– Нет! Ну какие сволочи! Нет чтобы объявить тревогу на десять минут позже!

Дежурный по эскадрону гремя ключами уже открывал оружейную комнату.

Хлопали двери. Из казарм выскакивали красноармейцы. Они мочились за углом, закуривали, спешили в строй.

Получив винтовку с боеприпасами и выбегая на улицу, Борзенко шутливо крикнул дежурному:

– Война, Сань, что ли?

Тот не ответил, отвернул свое конопатое насупленное лицо.

Звук моторов все нарастал и нарастал. Красноармейцы, получив винтовки, выбегая из дверей, шурились, зевали, кое-кто побежал за угол казармы. Наскоро справив малую нужду, становились в строй.

За два года службы Борзенко уже знал, если в выходной день объявили тревогу, пропало воскресенье. Сейчас объявят кросс.

Прибежал встревоженный командир эскадрона капитан Ракитин. Встревоженно осмотрел строй, подозвал к себе старшину. Спросил:

– Все на месте? Кого нет?

– Так точно, товарищ капитан. Все на месте. Четыре человека в наряде. Один в санчасти.

Капитан прошелся перед строем. Кажется, что каждому заглянул в душу.

– Война, ребята!

Строй колыхнулся.

– Как война? С кем?..

– С фашистами. Некогда отвечать на вопросы. На границе уже идет бой. Седлать лошадей!

Казачи эскадрона бросились к конюшням. Выводили и седлали лошадей.

Вдали, в утреннем небе, появилась армада самолетов. Они летели строем, на разной высоте, медленно, уверенно.

У Ракитина в голове шевельнулась малюсенькая надежда.

– Может быть, наши?

Но надежда тут же пропала, потому что от летящего строя отделилось несколько теней, скользнули прямо к военному городку. На фюзеляжах и крыльях с желтыми концами мелькнули черные кресты. Три пары «юнкерсов», завывая, пронеслись над крышами казарм, городком, в котором жили семьи командиров, развернулись над лесом и, сделав крутой вираж, стали стремительно возвращаться. Задрожали стекла, заржали кони. Одна из казарм вдруг вздрогнула, рассыпаясь по кирпичам, и медленно сползла вниз. С неба продолжали сыпаться бомбы.

Ракитин представил, как сейчас авиационная бомба пробьет крышу казармы и взорвется, убивая и калеча беспомощных безоружных людей.

«Каюк!» – подумал Ракитин и, срывая голос, заорал:

– Во двор! Бегом! Марш! – А когда бойцы выскочили на двор, закричал снова: – Рассредоточьсь! Стадом не стой! Лошадей в укрытие!

Казачки вскакивали в седла, но как град на них сыпались и сыпались осколки малокалиберных осколочных бомб «Шпренг Диквант» SD-2. Остановить этот кровавый молох могли только самолеты или зенитки Красной армии. Но зенитчики за несколько дней до начала войны были направлены на корпусные учения у села Крупки.

Армаду немецких бомбардировщиков могли остановить недавно полученные новейшие истребители МиГ-3. Но летать на них в полку почти никто не умел. Обучение и облетку прошли только 16 летчиков.

Согласно распоряжения командующего округом ВВС, в связи с переходом на новые самолеты было приказано снять со старых самолетов И-16 все вооружение, а самолеты перегнать на базу.

Командир авиаполка Полунин приказ не выполнил. Оставил два десятка ищачков. Не потому что заподозрил измену. Не дошли руки. Не успел.

В ночь с субботы на воскресенье майор Полунин остался в штабе. Сначала засиделся над документами, а потом бросил у двери хромовые сапоги и прилег на стульях в своем кабинете. Вскоре в коридоре, где стоял дневальный, раздался здоровый командирский храп. Слышалось невнятное бормотание.

Дежурный по полку настойчиво тряс его за плечо.

– Товарищ майор, товарищ майор... вас командир дивизии, срочно!

Полунин вскочил, спросонья закрутил головой, ища телефонную трубку. Рука машинально потянулась к вороту гимнастерки, вытянулся по стойке «смирно».

– Майор Полунин у аппарата, – доложил комполка и сквозь треск помех услышал ажурный мат комдива.

– Твою царицу мать! Спишь, майор?! – В трубке слышалось хриплое дыхание. – Прямо на тебя идут немецкие бомбардировщики. Поднимай полк!

– Какие мои действия, товарищ генерал? По-прежнему огонь не открывать? Принуждать к посадке? – спросил комполка.

– Ты офуел, майор?! – Рык комдива. – Их там сто или двести! Армада! Это война, Иван. Задержи их! Любой ценой задержи!

Полунин гаркнул:

– Понял! Есть задержать, товарищ генерал! – Хрястнул трубкой по телефону: – Ага... задержи. А какая же сука придумала перед самой войной у нас самолеты забрать?

Заметался по кабинету, натягивая сапоги. Застегивая на ходу португепю с кобурой, выскочил из штаба. Сбегая с крыльца, подвернул ногу. Выругался сквозь зубы.

Следом за ним загрохотал сапогами дежурный:

– Товарищ майор?..

В небе слышался ровный гул. Слегка приподнявшееся над линией горизонта солнце высветило лавину самолетов, идущих в плотных боевых порядках на полукилометровой высоте.

Ковыляя к аэродрому, комполка оглянулся, глянул в небо. Почувствовал, как похолодело в груди и сердце ухнуло куда-то вниз. Бешено закричал дежурному:

– Давай ракету! Быстро! Боевая тревога!

Со стороны оперативного дежурного, глухо хлопнув, взвилась красная ракета. Дежурное звено первой эскадрильи младшего лейтенанта Кокорева стремительно взмыло в сереющее небо. Навстречу своей смерти.

Надсадно выла сирена.

По полю в серых предрассветных сумерках уже мчались топливозаправщики. Чихнув, закрутился винт первой машины. Взревел мотор, второй, третий. Подкатали дежурная машина. Летчики полка прямо на ходу выпрыгивали из тентованного ЗИС-5, бежали к самолетам. Ревели двигатели. Техники тащили ленты к пулеметам БС и ШКАСам, баллоны со сжатым воздухом. Всюду шум моторов, крики команд, – полк готовился к бою!

Разбегаясь, взлетела первая пара. За ней вырулил очередной И-16, набрал скорость, кажется, сейчас оторвется от полосы... Но от летящей эскадры отделилось звено, и воющие самолеты с крестами пошли в атаку с пологого пике.

Полунин закричал:

– Давай! Ну давай же, родной, взлетай!

И в этот момент перед набирающим разгон самолетом набухла и вспучилась земля. И только тогда раздался звук взрыва. Машина подпрыгнула вверх и, разваливаясь на куски, вспыхнула ярким пламенем. Летное поле покрылось черными фонтанами взрывов.

Через двадцать минут полка уже не было. Восемьдесят машин сгорели, даже не взлетев с аэродрома. Вся полоса была густо усеяна воронками от бомб. Аэродромные постройки, ремонтные мастерские и склады горели. Черный дым клубами стелился над летным полем и высоким столбом уходил в небо. На краю поля лежала опрокинутая бричка с кастрюлями. Из пробитого пулей бака вытекало что-то темное. Чай или какао, похожие на кровь. По всему аэродрому дымились разбросанные обугленные обломки. Все, что осталось от авиаполка.

Внезапно откуда-то с высоты, со стороны солнца свалился маленький юркий истребитель МиГ-3. Пристроился в хвост немецкому самолету. Пошел на сближение, быстро сокращая расстояние, вцепившись в хвост мертвой хваткой.

– Кокорев? – поразился Полунин. – Живой?

И закричал, срывая голос:

– Кокорев! Димка-аааа! Стреляй, сынок!

Словно услышав его крик, ударил 12,7 мм универсальный пулемет Березина, коротко тавкнули скорострельные ШКАСы – и все.

Младший лейтенант Кокорев, остервенело давя на гашетку, костерил себя сквозь стиснутые зубы:

– Учили тебя, дурака, стрелять экономно. Теперь кровью умоешься за то, что не слушал!

Полунин покрылся холодным потом. Он понял, что сейчас Кокорева разорвут. Порвут, как голодные волки. Но маленький юркий МиГ-3 упорно шел на сближение с врагом. Газ – до предела. Ближе... Ближе... Раздался треск, заглушивший на мгновение гул моторов. Винт истребителя за доли секунды «размолотил» хвостовое оперение «юнкерса», и тот, словно наткнувшись на каменную стену, тут же клюнул носом и рухнул вниз.

Полунин кинул фуражку о землю, заорал в восторге:

– Что, бля, получил на х...?!

Но МиГ-3 тоже дернулся и стал неуклюже валиться на крыло. Сломанный винт не тянул. Самолет падал, словно подбитая птица, но даже в падении летчик пытался планировать, чтобы не упасть и сесть на землю, сохранив машину. Но тут один из самолетов прикрытия ударил из автоматической пушки. МиГ-3 вздрогнул, выпустил узкую струю черного дыма. С каждым мгновением она становилась все гуще и гуще. Самолет скользнул к лесу и пропал за верхушками деревьев. Через несколько минут где-то вдалеке за лесом раздался взрыв.

На том месте, где располагался военный городок и казармы, рвались фугасные бомбы. Кричали умирающие бойцы, ржали раненые кони. Горели деревянные строения, крыши домов, заборы, деревья. Лопались стекла. Рушились балки. На одной петле со скрипом раскачивалась дверь кирпичного дома. В воздухе висели гарь и пепел. Казармы были разрушены, вокруг не осталось ни одного уцелевшего каменного здания.

В нескольких километрах от военного городка догорал самолет младшего лейтенанта Кокорева.

Проснулись жители, и на улицах началось столпотворение. По утренним улицам, в пыли и грохоте бежали обезумевшие от страха полуодетые люди. Среди них были старики и женщины, бегущие в одних сорочках и кричащие страшными голосами. У многих на руках плачущие дети. Листья деревьев обуглились и почернели от огня. Всюду на земле валялись осколки стекла, обломки кирпичей, поваленные деревья.

– Товарищи... без паники, товарищи. Это провокация! Сохраняйте спокойствие. – Не веря собственным словам, метался среди людей заведующий гарнизонным клубом старший политрук Мохов.

Вся площадь перед городком и казармами была перепахана воронками бомб. Лежали десятки убитых красноармейцев и мирных жителей. От двухэтажного здания казармы осталась лишь одна внутренняя стена, на которой висел покосившийся портрет Сталина. Но над развалинами штаба реял пробитый осколками красный флаг. Сильно пахло гарью. Черный дым стлался по земле.

Стоя на коленях, страшно кричала жена капитана Ракитина. Волосы ее были растрепаны, из-под халата торчала ночная рубашка. На земле перед ней лежала полуголая маленькая девочка с окровавленной светловолосой головкой.

Отбомбившись, самолеты развернулись и, пройдя по горящим развалинам пулеметными огнем, ушли за горизонт.

Наскоро перевязав раненых и торопливо оглядываясь туда, где скрылись самолеты, казаки вскакивали в седла, выстраивая лошадей в походную колонну, и двинулись на Белосток.

В воздухе осталось висеть облако пыли из-под конских копыт. Попав во время марша под очередную бомбежку, казаки решили разбиться на эскадроны, чтобы не быть мишенью для самолетов.

Капитан Ракитин был убит осколком. Командование эскадроном принял старший политрук Мохов.

Не доходя до Ломжи, где дислоцировался 130-й артиллерийский полк, выслали разведку. Через полчаса те вернулись. Старший группы сержант Борзенко доложил:

– Немцы!.. на мотоциклах с пулеметами... Наверное, разведка. Около взвода, наглые... хохочут. Прут...

Старший политрук почернел лицом.

– Хохочут, говоришь? – закричал. – Шашки к бою!

Через десять минут озверевшие казаки вырубili немецкую разведку шашками. Это был не бой. Была жестокая рубка. Свистела сталь клинков, слышались выстрелы обороняющихся, редкие вскрики. Под острыми блестящими клинками немцы валились как трава.

Перебив мотоциклистов, казаки рассматривали порубленных немцев, вытирали клинки о конскую гриву. Вокруг лежали убитые, раненые, разбросаны немецкие ранцы, оружие, котелки. Немецкий офицер, рассеченный по груди, корчился в перемешанной с кровью пыли. Он не хотел умирать и страшно хрипел, выпуская из раны пузыри кровавой пены. Пулеметчик уткнулся лицом в ящик с пулеметными лентами. Красные волосы на его голове были похожи на задубевшую корку.

Дрожащими руками политрук пытался вложить шашку в ножны. С лицом, заляпанным кровью, подошел Борзенко. Мохов приказал ему собрать оружие и боеприпасы.

Сержант присел на корточки перед убитым офицером, вынул из его руки парабеллум, сунул себе за пазуху. Из разрубленного шашкой нагрудного кармана достал залитую кровью записную книжку с заложенным в нее серебряным карандашом. Хмыкнул. Сунул карандашик в карман галифе. Повертел в руках засаленную записную книжонку, полистал исчерченные непонятными каракулями странички. Бросил ее в пыль.

Порубив немцев, решили в город не входить, там уже наверняка были передовые части. Решили двигаться дальше и занять оборону вдоль железной дороги. Весь день отбивали атаки противника.

Но на казаков вновь свалились самолеты. Кони и люди были беззащитны от шквала огня. Появились новые убитые и раненые, и рвал сердца полный боли крик, от которого бросало в дрожь:

– Добейте меня!.. Хлопцы, родненькие!.. Пристрелите!..

До самого вечера слышались взрывы, стрельба, стоны раненых:

– Пить... пить...

Мохов почувствовал, как горячей болью обожгло левую ногу, в горячке он пробежал несколько шагов, пока не почувствовал, что нога ниже колена стала неметь. Сапог был полон теплой, хлюпающей крови. Присев на поваленное дерево, он позвал помковзвода.

– Сержант, подь сюда... Помоги снять.

Осколок застрял в правой ноге. На коже была видна рана, из нее шла кровь.

– Дай нож...

Сцепив зубы, полоснул по ране лезвием. Скривившись, подцепил ногтями зазубренный осколок, резко дернул.

– Надо бы порохом присыпать, товарищ политрук.

– Некогда. Надо уходить на Волковыск, там наши. Найди мне подорожник.

Борзенко порвал на себе исподнюю рубаху и перевязал политруку ногу. Рана распухла, болела. Сапог не налезал. Пришлось сунуть его в седельную сумку.

На усыпанной листьями земле тут и там лежали трупы убитых лошадей и тела казаков.

* * *

Дивизионные зенитчики так и не подошли. Выйдя рано утром с полигона, колонна повернула на боковую, обсаженную тополями дорогу. Двенадцать грузовиков с орудийными расчетами в кузовах тащили 37-мм зенитные пушки. Командир взвода лейтенант Сорока дремал в кабине ЗИС-5. Перед лобовым стеклом машины зеленым миражом дрожали, плыли у горизонта березовые колки, охваченные красным рассветным маревом. В утренней прохладе висел густой запах полевых цветов и земляники. Натужно завывали двигатели машин.

– Гляньте, товарищ лейтенант. И танкистам тоже не спится, – услышал Сорока голос водителя Даниленко.

Приоткрыв глаза, лейтенант увидел, что вдалеке навстречу их колонне движутся серые от пыли, низкие, тяжелые машины.

Лейтенант прикрыл глаза от поднимающегося солнца козырьком ладони.

– Тоже с учений идут, – предположил водитель.

Танки нырнули в ложбину возле ручья и внезапно появились совсем близко. Они развернулись в одну линию и двинулись по пшеничному полю, надрывно ревя моторами, приземистые как бульдоги, широкогрудые, с кургузыми стволами пушек. Отсвечивали на солнце их отшлифованные траки.

– Что же они делают? – мелькнула мысль. – По хлебному полю!

И тут машину подбросило вверх. Почти сразу же лейтенант услышал громкий взрыв. Машина осела на правую сторону.

– Это же!.. – мелькнувшая в голове мысль, так и не успев до конца оформиться в предложение, оборвалась новым взрывом.

– Немцы! – выдохнул водитель, поворачивая к командиру испуганное лицо.

Пальцы Сороки царапали, рвали тугую застежку кобуры нагана.

Застрекотали пулеметы. Из кургузых стволов пушек выпеснулись снопы пламени. Передний ЗИС приподнялся в воздухе, потом вдруг осел и рассыпался на части. Сороке почему то запомнилось катящееся по дороге колесо грузовика. Зеленело пшеничное поле, а впереди вспыхивали и вспыхивали огоньки выстрелов. Раздался пронзительный вой снаряда, взрыв в середине колонны. Уже горела соседняя машина, рядом колесами вверх валялась покореженная опрокинутая взрывом зенитка. Страшно кричали раненые и обгоревшие люди. На месте ЗИСа с бойцами первой батареи осталась лишь дымящаяся воронка с вколотенной в землю перекрученной, изрешеченной осколками рамой грузовика. Стоны, мольбы о помощи, лужи крови.

Оглушенный от разрывов, Сорока закричал:

– Орудия к бою!

Но не так просто было развернуть громоздкие зенитки на узкой дороге. Серое утро освещалось пламенем горящих машин, стояла вонь тротила, горячей резины. Немецкие танки продолжали методично расстреливать зенитный дивизион на дороге.

Сорока уже понял, что они погибают и что жить им осталось всего лишь несколько минут. И тогда Сорока вместе с какими-то бойцами немислимым усилием развернул ствол ближайшей зенитки в сторону выстрелов и, кое-как сорвав чехол, захрипел:

– Заряжай! В гробину, душу!..

Пыль и дым застилали обзор, невозможно было разглядеть, где танки. Горели машины, уцелевшие красноармейцы метались, ища укрытие. Между деревьями он все же увидел серую точку танка, который полз вперед и непрерывно стрелял в него. Сорока дрожащими руками повернул ствол и поймал в перекрестье прицела серый силуэт, плюющийся огнем из короткого хоботка орудия. Зенитка – это не полевое орудие, которое нужно заряжать после каждого выстрела. Зенитка автоматически выбрасывает целую кассету снарядов. Ударил короткая очередь. Башня ползущего танка вдруг взлетела на несколько метров вверх, медленно перевернулась в воздухе и упала среди пшеничных волн. За спиной Сороки вдруг оглушающе грохнуло, резкая волна взрыва швырнула его ниц и ударила спиной о землю. Лейтенант почувствовал, что ему нечем дышать. Краем сознания он сознавал, что еще жив. Что надо уползти как можно дальше от этого страшного места, укрыться, спрятаться от невыносимой боли, рвущей его тело. Из уголка его рта показалась кровь, но лейтенант не замечая ее сполз в канаву и затих, уткнув голову во влажную от ночной росы землю. Орудие, из которого он вел огонь, беспомощно повисло на краю воронки. Рядом с обугленным и еще дымящимся колесом лежали тела погибших бойцов. Валялись снаряды, гильзы, разбитые ящики. Рыча двигателем и гремя гусеницами, прямо на Сороку шел танк. Легкий утренний ветерок гнал на лежащего человека космы черного дыма от горящих машин. Тлела гимнастерка на спине погибшего лейтенанта.

* * *

Начальник снабжения кавалерийского корпуса полковник Козаков, оставленный в Волковыске для формирования второго эшелона корпуса, на восточном берегу реки Россь строил рубеж долговременной обороны. Серый от пыли и усталости Козаков хрипел и, размахивая пистолетом, останавливал отступавших бойцов. Заставлял рыть окопы в полный профиль и держать оборону. Он был одет в черкеску. На голове черная кубанка, лихо сбита на самый затылок. Над дорогой стоял сплошной мат, звяканье лопат о камни, бряцание винтовок. Двое суток сводный отряд держал оборону Волковыска. К концу вторых суток казаки уже бились шашками, потому что кончились боеприпасы. Поняв, что подмога не придет, пошли на прорыв.

48-й Кубанский Белореченский полк во главе с подполковником Алексеевым пытался прорваться южнее Зельвы и в районе деревни Ивашковичи врубился в расположение немецкой части. Большая часть полка полегла под огнем немецких пулеметов, а остатки, потеряв обозы и коней, насилу вырвались через первую линию окружения.

Жеребцу комполка осколком срезало половину морды. Полные тоски и страха глаза смотрели на людей, а вместо ноздрей белели окровавленные кости. Коня пришлось пристрелить.

Недалеко от них, около деревни Горно так же неудачно прорывался 144-й кавалерийский полк 36-й дивизии. Оставшиеся в живых казаки, боясь, что знамя полка попадет к врагу, закопали его у безымянного ручья близ села Зельва.

Вечером 28 июня собравшиеся в Зельве части попытались с боем выйти из окружения. Из города двинулся бронепоезд, поддержанный несколькими танками Т-26 и двумя эскадронами кавалерии. За ними шла пехота.

Остатки кавалерийского полка, рассыпавшись в лаву, ринулись прямо на расположения штаба 2-го батальона 15-го пехотного полка.

Немецким саперам удалось подорвать железнодорожное полотно. Заблокировав бронепоезд, его расстреляли из 37-мм орудий 14-й противотанковой батареи. Так же расправились и с танками Т-26.

Одновременно с этим артиллеристы и пулеметчики открыли огонь по коннице и наступавшей пехоте.

Борзенко увидел, как старший политрук Мохов полетел через голову своего коня.

– Товарищ командир! – закричал он и, осадив коня на полном скаку, прыгнул к корчившемуся от боли политруку.

– Команди-иир!

Мохов был ранен в голову, его лицо залила кровь. Выпав из седла, он сломал себе шею. Глаза закатились, он потянулся, мелко засучил ногами. Рукавом гимнастерки, до локтя перепачканным чужой кровью, сержант вытер слезы. Несколько мгновений не мигая смотрел в уже сереющее лицо. Где-то невдалеке безостановочно бил пулемет. Пули визжали где-то в вышине. Борзенко встал и, размазывая по седлу кровь, качаясь, с трудом сел на коня. Его взгляд был безумен, руки дрожали, сердце бухало под горлом. Вцепившись занемевшей рукой в рукоять шашки, он дал коню шенкеля и поскакал на звук выстрелов. Прорыв уже захлебывался в крови.

Казаки пытались отойти и пробиться из окружения в другом месте, но разгром был полный. Загнанные, обессилевшие кони падали, поднять их уже не могли. Те, которые еще могли держаться на ногах, качались, еле переставляли ноги и роняли на землю густые белые хлопья пены.

Сержант Борзенко лежал на земле, захлебываясь кровью. Уже слышалась немецкая речь. В руке у него был трофейный парабеллум.

«Все... триндец! – подумал он. – Отбегался Борзик».

И поднес к виску ствол.

* * *

Группа майора Гречаниченко на рассвете вышла к реке. Его остановили вооруженные автоматами люди. Это был конвой Маршала Советского Союза Григория Ивановича Кулика, которого Сталин отправил на Западный фронт для выравнивания ситуации.

Конвой маршала пытался останавливать военных, ехавших и шедших вместе с беженцами. Но никто ничего не желал слушать. Зачастую в ответ на требования раздавались выстрелы. Уже прошел слух, что занят Слоним, что впереди высадились немецкие десанты, прорвались танки, что обороняться здесь уже нет никакого смысла. Маршал в парадном мундире и с тростью в руках на фоне отступающей армии смотрелся нелепо. Мимо него сплошным потоком шли разрозненные группы красноармейцев. В их глазах Григорий Кулик видел не только страшную многодневную усталость, вызванную бомбежками и боями, но и покорную безнадежность, как у скотины, которую ведут на бойню. Солдаты смотрели себе под ноги и что-то угрюмо шептали потрескавшимися, сухими губами. Слой мягкой бархатистой пыли вдоль дороги заглушал мерный топот солдатских ног. Ряд за рядом мимо Кулика и стоящей рядом с ним группы командиров шла колонна обвешанных оружием красноармейцев. Большинство из них были в сбитых на затылки кубанках. У некоторых в руках немецкие автоматы. Бойцы были в расстегнутых и разорванных гимнастерках. Отсвечивали серые от пыли повязки раненых. Товарищи помогали им нести скатки и вещмешки. Замыкал строй худощавый командир, с майорскими шпалами на петлицах, туго перетянутый ремнями портупей. На темном лице с резкими чертами было какое-то жесткое выражение глаз.

Кулик приказал майору подойти к нему. Вертя в руках изящную трость и постукивая ей по голенищу блестящего сапога, спросил:

– Ты кто такой?

Придерживая рукой висевший на груди автомат, командир остановился, доложил:

– Майор Гречаниченко. Временно исполняю обязанности командира 94-го кавполка.

Голос его звучал хрипло, смотрел без страха, будто спрашивая: «Ну, чем еще вы сможете меня напугать?»

Геройский вид Гречаниченко и его сохранивших строй бойцов воодушевили маршала.

– Майор! Вы очень вовремя со своими бойцами, – сказал Кулик. – Приказываю вам организовать оборону за Россью севернее Волковыска, – маршал ткнул тростью куда-то в сторону реки.

– Люди на пределе сил, товарищ Маршал Советского Союза, – устало ответил майор. – Многие ранены.

– Не время отдыхать, казак, – Кулик недовольно прищурился. – Родина в опасности. Надо продержаться двое суток.

– Задача понятна, товарищ Маршал Советского Союза, – ровным голосом, словно речь шла о пустяковом задании, ответил майор Гречаниченко, глядя прямо в глаза маршалу. – Разрешите выполнять?

Гречаниченко понимал, что шансов выжить нет ни у него, ни у его бойцов. Но не было страха в его лице, только решимость и трагическая обреченность.

Кулик об этом уже не думал, посчитав свою миссию выполненной, он со своим штабом решил выходить из окружения. Бывший взводный унтер без сожаления содрал с себя роскошную гимнастерку с маршальскими петлицами, но не смог заставить себя снять роскош-

ные хромовые сапоги. Он переоделся в крестьянское платье и теперь, с недельной щетиной на лице, казался деревенским мужиком. Так и шел. В крестьянской косоворотке и хромовых генеральских сапогах.

* * *

Григорию Кулику всегда везло. Еще в детстве дед Матвей, живущий по соседству и сливающий в округе за колдуна, нагадал ему долгую и счастливую жизнь. Во время Гражданской он был пять раз ранен. Выжил в Испании. Пережил чистки и террор тридцатых. Повезло и на этот раз, судьба уберегла его от встречи с немцами.

Сталин, опасаясь того, что Кулик может попасть в плен, отдал приказ разыскать его. На поиски пропавшего маршала были брошены специальные группы. Но в начале июля Кулик сам вышел из окружения. В потертых холщовых брюках с пузырями на коленях, в застиранной серой рубашке, с заплатами на локтях. В грязных, нечищенных сапогах со сбитыми каблуками. На голове – кепка, на лице многодневная щетина. Затравленный взгляд, в глазах вопрос – как встретят соратники?

На следующий день после возвращения в Москву он, выглаженный, чисто выбритый и переодетый, заявился к старому другу Ворошилову. Но красный маршал ему не обрадовался, напротив, нахмурился.

– Здравствуй, Клим, – дрогнувшим голосом сказал Кулик.

– Здравствуй, Гриша. Что скажешь?

– Вернулся вот...

– Для тебя было бы лучше не возвращаться.

– Это как же, Клим? К немцам?..

– Нет. Пулю в лоб. Тогда бы написали – героически погиб.

– Клим, что случилось?

– А то и случилось, что у хозяина на столе уже рапорт лежит, что ты, дескать, все просрал, документы сжег, оружие бросил и бежал с передовой, как Керенский в семнадцатом. Кстати, ты не в бабьем платье сбежал?

– Да я, Клим!..

– Ладно, ладно... Знаю, что ты! Завтра тебя хозяин вызывает. Молчи. Делай глупые глаза. Хозяин дураков любит. Может быть, пронесет.

На Кулика было страшно смотреть. Его лицо словно омертвело, глаза остекленели. Предстояло объяснение с хозяином.

Когда Кулик предстал перед Сталиным, тот, делая вид, что видит его впервые, спросил, пыхнув трубкой:

– Кто ви такой?

Кулик приосанился, одернул широчайшие галифе.

– Маршал Советского Союза...

– А гдэ ваши лапти, товарищ маршал?..

– Товарищ Сталин... Позвольте объяснить...

– Я спрашиваю вас, гдэ лапти, товарищ Кулик? Гдэ зыпун, в котором вы выходили из окружения?

Кулик молчал. Его солидная, полная значимости фигура как-то сдулась, стала даже меньше в объеме, лицо, наоборот, набрякло, щеки обвисли.

– Молчите? Правильно дэлаете. Потому что за вас говорят документы. Вот передо мной лэжит рапорт начальника 3-го отдела 10-й армии товарища Лося, который вместе с вами вишел из окружения: «Товарищ Маршал Советского Союза Кулик приказал нам всэм снять

знаки различия, выбросить документы, затем сам переделся в крестьянскую одежду. Сам он никаких документов с собой нэ имел, нэ знаю, взял ли он их с собой из Москвы».

«Сука чекистская! – думал про себя Кулик, разглядывая блестящие носки своих сапог. – Ну и сука же этот полковой комиссар. Зря я его вывел. Надо было там и бросить, пусть бы там с казаками и держал оборону».

Сталин продолжал ровным тихим голосом:

– «Прэдлагал бросить оружие, а мнэ лично – ордена и докумэнты, однако, кроме его адъютанта, майора по званию, фамилию забыл, никто докумэнтов и оружия не бросил. Мотивировал он это тэм, что, если попадемся к противнику, нас примут за крестьян и отпустят... Маршал товарищ Кулик говорил, что хорошо умеет плавать, однако отказался переплыть реку, ждал, пока сколотят плот, что было совершенно нэдопустимо, так как вблизи были фашисты, и создавало угрозу плена».

А вот вывод начальника особого отдела 10-й армии комиссара госбезопасности 3-го ранга Михеева, который проводил расследование: «Считаю нэобходимым Кулика арэстовать...»

Сталин смотрел на Кулика своими желтыми глазами.

– Что ви скажете на это, товарищ... генерал-майор?

Разговор был резким. Но вопреки привычке стирать людей в порошок и за гораздо меньшие прегрешения, Сталин Кулика не тронул. Хоть и дурак бывший унтер, но... услужливый. Если всех дураков стрелять, так можно и одному остаться.

Разжалованный маршал выкатился из кабинета. Сталин только вздохнул: «с кем приходится работать?»

Вскоре после своего рапорта полковой комиссар Лось был назначен на должность начальника 3-го Отдела НКО Управления Фронта Резервных армий Ставки.

Комиссар госбезопасности 3-го ранга Анатолий Михеев, настаивавший на аресте маршала Кулика, когда-то начинавший службу командиром саперного взвода, попросился на фронт. 23 сентября 1941 года, выходя раненым из окружения, он погиб под гусеницами танка. Но даже мертвый он продолжал сжимать в руке маузер, в котором не осталось ни одного патрона.

* * *

Смертельно уставшие и измученные казаки продолжали сражаться.

В ночь с 1 на 2 июля 1941 года командующий 3-й советской армией генерал-лейтенант Василий Кузнецов приказал прорываться из окружения в юго-восточном направлении через железнодорожную линию Барановичи – Минск. Казаков майора Гречаниченко зачислили в состав сводного отряда, который прикрывал прорыв на направлении разъезда Волчковичи. После жестокого и кровопролитного сражения вырваться из окружения удалось лишь немногим. Группа казаков до самого рассвета сдерживала германские части, стремившиеся «заткнуть» пробитый в котле узенький проход. После того как погибла большая часть отряда, раненый майор Гречаниченко с горсткой уцелевших отошел в глубь лесного массива. За несколько дней непрерывных боев и отступления бойцы дошли до предела своих сил. Измотанный Гречаниченко, у которого воспалилась рана, материл про себя героического маршала, на глаза которому он так некстати попал, и тоскливо думал про себя: «И какой хер принес на фронт этого вояку?» Не видя возможности выйти из окружения целым подразделением, Гречаниченко прохрипел сорванным голосом:

– Слушай приказ!..

Вокруг, среди кустов и деревьев, лежали люди. Вздыхали от частого, хриплого дыхания их темные от пота и пыли гимнастерки.

Гречаниченко поперхнулся и, преодолевая кашель, повторил:

– Слушай приказ! Всем разбиться на мелкие группы. Отходить самостоятельно. Направление строго на восток!.. Передать команду по цепи!..

В лесу слышались осипшие от бега голоса, повторявшие приказ.

Сам Гречаниченко идти уже не мог. Казаки перевязали ему раны и оставили в ближайшей деревне. Он затерялся среди местного населения, а потом ушел к партизанам.

Генерал-майор Константинов при прорыве из окружения под местечком Рось был ранен в ноги и спину. Оставив его в деревне на попечение крестьян, казаки пошли дальше.

Жаркое июньское солнце стояло высоко над землей, выжигая ее иссушающим зноем. У горизонта над лесистыми зелеными холмами дрожащим маревом зыбился и плыл раскаленный воздух.

Казаки выбрали место на взгорке, где было суше. Завернули в брезент знамя корпуса и закопали его в землю, рядом с большим, покрытым мхом камнем. Грунт, слежавшийся за долгие годы, был плотным, неподатливым.

Казаки спешили, тяжело и хрипло дыша рыхлили твердую землю ножами и пашками. Срывая ногти, царапали землю пальцами. Из-под черных кубанок катился горячий пот. Последняя группа казаков численностью до батальона вышла из окружения в район Орши. Казакам пришлось оставить своих истощенных переходами коней и влиться в оборону советских войск как стрелковое подразделение.

6-я Кубано-Терская казачья дивизия имени Буденного почти вся полегла в июньских боях с превосходящими силы противника. Погибла, не запятнав казачьей чести. Ценой своей жизни казаки сохранили честь и славу своей дивизии.

* * *

Немецкий 39-й моторкорпус, сломив сопротивление не успевшей сосредоточиться 19-й армии в районе Витебска, наступал на Демидов, Духовщину и Смоленск. 13 июля танки корпуса дошли до Демидова и Велижа, заняли Духовщину и 15 июля прорвались к Московско-Смоленской дороге. В результате прорыва немецких танковых групп в окружении под Смоленском оказались советские 19, 20 и 16-я армии. Связь с тылом поддерживалась только через болото южнее села Ярцево. Немногочисленные части, которые шли на помощь окруженным советским армиям, смела лавина отступавших войск. Этот страшный поток вовлек их в обратное, паническое движение. То же самое было и на других фронтах.

Начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Василий Тупиков доложил начальнику Генерального штаба РККА Шапошникову: «До начала катастрофы пара дней». В ответ маршал Шапошников обвинил его в трусости и паникерстве. Но бывший военный атташе в Берлине Василий Тупиков, в последние часы успевший предупредить правительство о начале войны, не был ни трусом, ни паникером.

На другой день танки 1-й и 2-й танковой группы завершили окружение пяти советских армий. В плен попало около 300 тысяч советских солдат. Выходя из окружения, генерал-майор Тупиков и командующий фронтом Кирпонос погибли в рукопашном бою.

Страшное, роковое слово «окружение» двигало волей и поступками людей, совсем еще недавно марширующих, горлающих бравые песни, убежденных в том, что бить врага будут на его территории, а теперь бредущих куда-то лишь в одном направлении – куда все, туда и мы.

Волны людей ширились, словно горный поток, и текли, набирая силу и сметая все на своем пути. На восток, к своим. Немцы бомбили их с воздуха, непрерывно обстреливали снарядами и минами, загоняя в лес, непролазную топь и глушь. В первые дни, пока еще

оставались снаряды, пушки окруженных частей остервенело и обреченно били по приближающимся танкам и пехоте.

– Слушай мою команду. Цель сто первая, пехота, основное, наводит по карандашу, два карандаша влево, осколочно-фугасным, взрыватель осколочный, прицел шестнадцать. Один снаряд – огонь!

– Левее два, прицел пятнадцать, батарея, веер сосредоточенный, один снаряд – залп!

– Бронебойным, по танкам – огонь! – хрипел закопченный и измотанный отступлением безымянный артиллерийский комбат, расстреливая последние снаряды.

– За нашу советскую Родину!.. За Колю Шевченко! За Сашку Семенова! Огонь!

– За всех ребят! В три господ... душу!.. Огонь!

– Получай, сука!

Наверное, что-то кричали и немецкие артиллеристы, но спор быстро заканчивался. На батарею набрасывались воюющие бомбардировщики с выпущенными шасси, словно лапы у хищных птиц. И летели вверх комья земли, ошметки людей и куски железа.

Бойцы и командиры пробовали окопаться, но тут опять настигало людей страшное слово «окружение», и они снова группами и по одному покидали позиции, стараясь убежать от страшного и несокрушимого врага. Многие тысячи растерянных людей, оглушенных июньскими сражениями, бродили в лесах. Их, уцелевших от разгрома, ждали голодные скитания и страшная судьба в немецких лагерях для пленных. Но и тех, кому удавалось выйти к своим, ждали новые муки и страдания. Свирепствовали трибуналы. Особисты работали днями и ночами, выискивая паникеров, трусов, шпионов и вражеских диверсантов. И за бездарность советских генералов сполна платили своими жизнями простые русские парни и мужики. Кто-то должен был за это ответить. Чувство всеобщей вины требовало найти виновного. Политическая и военная элита страны готова была назвать любое имя, даже самое безвинное, лишь бы снять с себя тягостный комплекс ответственности перед гибнущей державой.

Генерал армии Павлов возвращался на фронт после беседы с Жуковым. Но в его судьбе уже была поставлена жирная точка.

Сталин вызвал к себе Мехлиса и Берия. Попыхивая трубкой, дал напутствие:

– Ви там хорошенько разбэритесь, кто еще, кроме Павлова, виновен в допущенных серьезных ошибках.

Берия и Мехлис все поняли правильно.

Берия распорядился:

– Немедленно арестовать Павлова и его окружение!

Не доезжая Смоленска, машина Павлова была остановлена офицерами НКВД, а он сам и сопровождающие его офицеры были арестованы. Генеральскую портупею с кобурой и пистолетом у него забрали сразу. В старинном белорусском городе Довске, где генерал армии Павлов принимал парад, заставили снять китель и взамен дали поношенную гимнастерку рядового красноармейца. Теперь только гладко выбритая голова да холеное лицо напоминали о прежнем высоком положении.

А как здорово все шло...

Павлова завели в кабинет. За столом сидели заместитель начальника следственной части 3-го Управления НКО СССР Павловский и следователь того же управления Комаров. Первый был в звании старшего батальонного комиссара, второй – младший лейтенант госбезопасности.

В углу притаилась худая, нескладная машинистка с погонами сержанта.

Еще со времен наркома Ежова следственный аппарат во всех отделах и управлениях НКВД делился на – кольщиков и сказочников.

Кольчики подбирались в основном из полных отморожков, тех, кто не гнушаясь черной и грязной работы мог выбить подследственному глаз, переломать пальцы или спилить напильником зубы. Как правило, «показаний» они добивались в кратчайшие сроки. Потом в дело вступали сказочники, которые умели грамотно и красочно составлять протоколы. Павловский был интеллектуалом, разговаривал по душам, писал протоколы. Высокий, крепкий, со сломанными, как у борцов, ушами, младший лейтенант мастерски орудовал кулаками. Иногда менялись ролями.

С машинисткой спал батальонный комиссар. Как старший по званию.

Павлов наотрез отказался разговаривать со следователями. Он всегда отличался крутым нравом.

– Я буду говорить только в присутствии наркома обороны или начальника Генштаба! Вы, – он ткнул пальцем в сторону младшего лейтенанта, – не имеете полномочий допрашивать генерала армии.

Внезапно открылась дверь, и в кабинет быстрыми шагами вошел армейский комиссар первого ранга Мехлис. Следователи и машинистка при его появлении встали.

– Это кто тут не хочет давать показания? – Мехлис повернулся к следователям своим носатым лицом.

– Я буду отвечать на вопросы только в присутствии наркома обороны или начальника Генштаба, – уже затравленно ответил Павлов, не поднимаясь с табуретки.

Лева Мехлис, хоть и начинал свою карьеру с конторщиков, но родился и вырос в Одессе, где периодически случались погромы еврейских домов и лавок. Взрослеть и мужать – пришлось быстро. Уже повзрослевший Лева прошел боевую закалку на политической работе в Красной армии, где не боялся вваливаться с маузером к пьяной матросне и крыть матом вооруженных, нанюхавшихся марафета анархистов.

Лев Захарович при случае и сам мог начистить рыло политическому врагу.

– Ах ты б...! Не бу-деееешь? – задохнулся Мехлис.

Павлов побледнел. Вскочил с места, сделал попытку одернуть гимнастерку.

– Тебе мало заместителя наркома обороны? Может быть, самого товарища Сталина вызвать? Много чести... Ты теперь говно от желтой курицы. Приказываю отвечать на вопросы следствия! – хлопнув дверью, Мехлис вышел из кабинета.

Повисла гнетущая тишина. Лишь изредка слышалось жужжание мух, ползающих по деревянному подоконнику, где стоял цветочный горшок.

Павловский потянулся к коробке с папиросами.

– Ты тут, младший лейтенант, поговори пока с гражданином Павловым, а я пойду обос... – Перевел взгляд на машинистку. – Обосмотрюсь, в общем.

После того как батальонный комиссар вышел из кабинета, Павлов стал разговорчивее.

Стоя у окна в коридоре, Павловский слышал срывающийся на крик голос Павлова, который пытался объяснить следователю, что причиной военных неудач и отступления войск округа стало значительное превосходство крупных механизированных соединений и авиации противника.

Но следователя такой ответ не устроил:

– Лучше расскажите нам о вашей предательской деятельности.

– Вы с ума сошли? Я не предатель. Поражение войск, которыми я командовал, произошло по независящим от меня причинам. И вообще, я настаиваю на вызове товарища Тимошенко.

Сквозь стекло, усеянное черными точками, была видна управленческая полуторка, широкая спина красноармейца Герашенко, крутящего ручку стартера.

Батальонный комиссар курил, лениво выпуская изо рта колечки дыма, и в голове его крутились такие же неторопливые мысли:

«Надо бы хозяйке сегодня белье отдать. Пусть постирает и погладит к утру».

Представил хозяйку – краснощекую, задастую, крепко сбитую. Усмехнулся, вспомнив машинистку, подумал: «Вот и сравним сегодня ночью».

Но тут совсем неожиданно мысли перескочили на другое.

Сам Лева Мехлис примчался контролировать следствие. А это значит что?.. Только одно, что делу бывшего генерала Павлова придается политическое значение и наверняка следователь, раскрывший заговор, будет представлен к государственной награде.

Павловский бросил папиросу на пол, загасил ее каблуком и резко открыл дверь кабинета.

Младший лейтенант в этот момент ударом кулака сбил с табуретки бывшего командующего фронтом:

– Сука фашистская! Я тебе покажу, блядине, кто из нас выше званием. Не предатель?! Ты хуже... ты сделал то, что не удалось Тухачевскому. Ты открыл немцам фронт!

Над Павловым склонилась фигура в новенькой коверкотовой гимнастерке. Он почувствовал запах кожи новой португеи. От удара сапогом в лицо перед глазами заплескал потолок, и бывший генерал Павлов погрузился в безмолвие.

– Вот сука, квелый какой-то генерал пошел! – брезгливо сказал следователь, вытирая носок сапога о гимнастерку Павлова.

– Конвойный! Ведро холодной воды. Живо.

Через полчаса Павлов с затекшим лицом сидел на табурете. Вдруг он хрипло зарыдал, словно залаял. Павловскому стало жутко.

Батальонный комиссар подвинул Павлову коробку с папиросами. Зажег спичку. Подождал, пока тот сделает несколько затяжек.

Пальцы, державшие папиросу, дрожали. Жадно докурив папиросу, Павлов вдавил окурок в пепельницу и холодным бесстрастным голосом стал давать подробные признательные показания.

Машинистка в углу, деловито хмурясь от сосредоточенного внимания, быстро била пальцами по клавишам пишущей машинки, фиксируя показания арестованного генерала.

Довольный Комаров вытащил серебряный портсигар. Достал папиросу, размял. Закурил.

– Так бы сразу и говорил, что завербован сначала польской разведкой, а потом еще и германской. А то начал мне тут вола крутить!

У Павлова задрожали губы. Он обмяк, ссутулился. Никак не мог собраться с мыслями. Совсем еще недавно уверенное, жесткое лицо с крупными чертами резко постарело. Обвисли щеки, погасли глаза.

Через две недели дело было закончено, передано в военный трибунал.

Председательствовал армвоенюрист Василий Ульрих, членами суда были диввоенюристы Орлов и Кандыбин. Секретарь – военный юрист Мазур.

Просьба подсудимого направить его на фронт в любом качестве, где он докажет преданность Родине и воинскому долгу, грубо прерывалась Ульрихом:

– Пожалуйста, короче...

Его мучил приступ разыгравшейся мигрени. Правда о состоянии фронта и причинах отступления его совершенно не интересовала. Сталин дал команду – найти врага. Приказ был выполнен, враг найден.

Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Дмитрия Павлова и руководство штабом фронта – Климовских, Григорьева, Коробкова – лишить воинских званий и подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.

Ознакомившись с приговором, Сталин сказал Поскребышеву:

– Пусть не тянут. Никакого обжалования. И обязательно сообщить по всем фронтам, пусть знают, что трусов и пораженцев карать будем беспощадно.

Той же июльской ночью Дмитрия Павлова расстреляли.

* * *

Группа танков 35-го танкового полка 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии, идущих на выручку своей пехоте, заблудилась ночью среди болот и лесов. Танки сожгли все горючее и встали на дороге. Командир группировки, двадцативосьмилетний майор Николай Титаренко, одетый в замазученный черный комбинезон, матерясь, бегал по дороге от машины к машине, стуча пистолетом по броне машин. От безысходности он скрипел зубами и наконец отдал приказ слить оставшееся горючее в командирский танк, снять вооружение и идти на соединение со своими частями пешим порядком. Этому приказу неожиданно воспротивился батальонный комиссар Шпалик.

– Весь советский народ ведет битву с превосходящими силами противника, – как по написанному шпарил комиссар. – А мы вместо того, чтобы дать бой врагу, будем уничтожать свои танки? Товарищ майор, ваш приказ – вредительский и я буду докладывать об этом в штаб дивизии.

Титаренко плюнул, полез в танк. Но тут налетели самолеты, сбросили бомбы. Вспыхнул танк Титаренко. Люки танка заклинило. Экипаж не мог выбраться из горящей машины, и умирающие люди кричали от боли, сгорая заживо. Батальонный комиссар Шпалик метался между машинами. Схватил за руку ротного Милютин.

– Товарищ старший лейтенант! Машина командира горит. Помогите ему! Я приказываю!

Пламя медленно ползло по танку, и вдруг раздался сильный взрыв. Взорвался боекомплект. Танковую башню сорвало с погонов, приподняло и отбросило в сторону. Огонь полыхал прямо из чрева.

Командир роты устало поскреб трехдневную щетину на обгоревшем лице, махнул рукой:

– Поздно, комиссар, пить боржоми. Вы старший по должности в полку. Командуйте.

Когда черным жирным дымом занесло поросшую чахлым кустарником пойму, неспешный ветер донес до деревни не только звуки взрывов, но и крики горящих заживо экипажей. Танкисты погибли не напрасно. Они приняли на себя бомбовый удар самолетов, летящих на Москву. Советские солдаты остались верны солдатской присяге. Вечная им память.

Но местные жители еще многие годы обходили стороной эту растерзанную взрывами пойму, воняющую гарью, сажей и горелым человеческим мясом. На земле остались лежать трупы. Много трупов, несколько десятков. Горбились закопченные остовы сгоревших машин. Горестно покачивали на ветру зелеными кронами сосны с опаленной корой, словно удивляясь нежданно нагрянувшей смерти.

Оставшиеся в живых танкисты, обожженные и черные от копоти, пытались выйти из окружения – они уже понимали, что в этой войне слова «плен» и «смерть» означали одно и то же. Для одних – раньше, для других – позже. Многие из них продолжали сражаться. Биться и умирать с отчаянностью обреченных. Рвущиеся к Москве немецкие части снова наталкивались на отчаянное сопротивление, и гусеницы немецких танков вязли в телах русских солдат.

* * *

Рассвет 22 июня 1941 года Алексей Костенко встретил в одиночной камере Лефортовской тюрьмы. Сквозь зарешеченное окно камеры и железный намордник, надетый на окно, виднелся лишь сереющий кусочек неба. В камере круглосуточно горела лампочка. Ломаный, рассеянный свет падал на голые бетонные стены, серый каменный пол, железную стандартно-тюремную дверь с черным зрачком смотрового глазка, засовы. Утром, в обед и вечером в замочной скважине скрежетал ключ. С грохотом откидывалась дверца кормушки, и в проеме Алексей видел кусок тюремной стены, выкрашенной ярко-синей краской, мятые кастрюли с баландой и кашей, заключенного с биркой на груди, раздающего хлеб и сахар.

Пять шагов к двери: железная шконка, металлический ржавый стол, бак с парашей, умывальник. Пять шагов назад к черной решетке, впечатанной в тусклый прямоугольник окна. Пять шагов вперед, пять назад. Костенко размеренно шагал по камере, наматывая бесконечные километры. Хромовые сапоги скрипели, придавая мыслям хоть какой-то здравый смысл. Привычный скрип убеждал в том, что он не сошел с ума, ему ничего не кажется и не снится. Пять шагов вперед, пять назад. О чем можно подумать за это время? Оказывается, о многом – о прошлой жизни, о том, как много еще не успел сделать. В пять шагов вмещается целая жизнь, особенно если эти шаги все не кончаются и не кончаются. Примерно как у белки в колесе, которая все бежит и бежит по кругу, пытаясь то ли от кого-то убежать, то ли наоборот – догнать.

Каждые полчаса приоткрывался дверной глазок, к очку приникал человеческий глаз. Надзиратель заглядывал в камеру равнодушным, бесстрастным взглядом и сразу же исчезал. Ходит арестант по камере, ну и пусть ходит. Указания запрещать хождение не было. Перед заступлением на дежурство начальник корпуса инструктировал его:

– Смотри, Пелипенко. Это контрик особый, в самую головку НКВД пробрался. Ты с ним ухо остро держи, чтобы не удавился или еще какое членовредительство не сотворил. А то мы с тобой запросто на его месте окажемся.

На доклады подчиненного, что «контрик» не спит ночами, корпусной хмыкал и, усмехаясь, говорил:

– Ну и пусть не спит, может, ему его душегубства покоя не дают, совесть начинает мучить, что измену против Советского государства замышлял. Может быть, он походит, походит да и надумает сознаться в злодействе каком. Государству нашему рабоче-крестьянскому тогда польза, а тебе благодарность или даже медаль. Ну, ступай, Пелипенко, служи.

Осенью 1940 года Костенко неожиданно отозвали в СССР.

«Вот и все, – подумал он тогда, – меня возьмут прямо на перроне. Только бы успеть раскусить ампулу с ядом». Но обошлось. Не тронули.

Несколько дней он ждал вызова на Лубянку и каждую ночь ожидал ареста. Знал, что за ним могут прийти, и потому спал урывками. Не желал быть захваченным врасплох, сонным, раздетым. Готовился. Уничтожил, сжег все личные бумаги, записные книжки, письма и даже открытки. Там были имена и адреса друзей, и для них это было опасным. В ящике стола лежал заряженный пистолет. Молчаливый и подавленный, затянутый в скрипучие ремни портупей, он ходил до рассвета по квартире – мрачно, обреченно сцепив за спиной руки. Чувствовал, что беда близко; она бродила где-то за порогом, и любой сторонний звук – шум автомобильного мотора за окном, стук каблуков на лестнице, дребезжание звонка – все напоминало о ней, дышало ею. За окном дворник в сером фартуке размахивал метлой по асфальту – шорк... шорк... шорк. Внезапно вспомнился плакат, как красноармеец в буденовке и гимнастерке выметает метлой врагов народа. Подумалось... вот так же и его. Уже, наверное, скоро.

Но его не тронули. Внезапно вызвали на Лубянку, приказали выехать в распоряжение управления НКВД по Ростовской области. И отлегло от сердца, ворохнулась паскудная мыслишка, может быть, обойдется, пронесет нелегкая, учтут заслуги, безупречное прошлое. Но оказалось – не пронесло, на следующий день взяли перед совещанием, прямо в приемной начальника управления НКВД Виктора Абакумова. Там же в приемной капитан госбезопасности, с серым нездоровым лицом, типичная кабинетная мышь, объявил:

– Вы – арестованы! – и тут же сорвал с него ордена и петлицы. Через несколько недель отправили в Москву. А до этого его допрашивал сам Абакумов. С пристрастием допрашивал. Крепко бил товарищ старший майор госбезопасности, во всю силу своих чекистских кулаков.

Пять шагов вперед, пять назад. Много это или мало? Много, если в эти пять шагов вмещается целая жизнь, страшно мало, если знаешь, что это конец. Было ли что-нибудь хорошее в прошлой жизни? Были революция, Гражданская война, кровь и бесконечные мечты. Будет ли что еще? Или только эти стены и камни? Грязь и холод, мрак и страх?!

Алексей слишком хорошо знал методы работы НКВД, органы не ошибаются. Значит, видится два исхода. Трибунал и приговор – высшая мера социальной защиты – расстрел. Или опять же трибунал и двадцать пять лет лагерей, что в принципе одно и то же.

Значит, выхода нет. В обоих случаях конечная станция – это эковское кладбище с номерком на левой ноге вместо обелиска с красной звездой. Что остается? Перегрызть себе вены? Вздернуться на куске простыни? Так ведь не дадут, коридорный вертухай не отходит от глазка. Пять шагов вперед, пять назад. Много лет живя за границей и занимаясь разведкой, он конечно же слышал о существовании другой жизни, в которой арестовывали людей, судили, стирали в лагерную пыль. И хотя среди них было много знакомых, все равно не возникало мыслей о том, что же это за государство мы создали, если все руководство состоит из предателей? А если большинство арестованных не предатели, тогда что?.. Почему один человек обладает властью рубить головы полководцам Гражданской войны и соратникам Ленина? Но тогда он не задавал себе вопросов и не мучился сомнениями. Мир казался предельно ясным. А потом, будто топор палача из страшного сна, грубо и бесцеремонно отсек все самое дорогое, что у него было. Прошлую жизнь, настоящую, напрочь лишил будущего.

Кто виноват?.. Что делать?.. Два извечных русских вопроса, на которые нет ответа.

Ты ведь сам строил это государство, защищал его безопасность и охранял его интересы. Ты был готов умереть за власть Советов, но даже не мог представить, что умирать придется в советской тюрьме и от пули советского солдата. Это ведь при тебе создавался аппарат ВЧК, ОГПУ, НКВД. При тебе начались и продолжались репрессии, аресты старых товарищей, которых знал еще с Гражданской. Почему молчал тогда? Малодушничал или в самом деле верил в непогрешимость сталинского руководства и органов? Значит, виноват сам, получил то, что заслужил. И задавал себе Костенко один и тот же вопрос:

– Кто же ты, Сталин? Сумасшедший? Злодей? Кто-оооо?

На допросах он ничего не признал и не подписал. Он отрицал сотрудничество с французской разведкой, польской, английской, германской. Отрицал подготовку заговора, отрицал все. Знал, что сопротивляться бесполезно, переломают пальцы, ребра, зажмут дверями яйца, но ничего с собой поделывать не мог. Спротивлялся как мог, зная, что в случае признательных показаний последуют аресты его друзей и сослуживцев. Но совсем неожиданно его оставили в покое, может быть забыли, может, сделали вид, что не до него. А скорее всего, пошла охота на более крупного зверя. А тут еще в воздухе запахло войной, бывший ефрейтор наглед с каждым днем. Костенко еще в 37 году, после возвращения из Испании докладывал в Москву, что через три-четыре года Гитлер превратится в такую акулу, которую будет очень трудно остановить. Конечно, Сталин тоже готовился к войне, спешно перевооружал армию, разворачивал и комплектовал новые дивизии, подтягивал к границе войска, но и тут

же рубил головы всем, кто мало-мальски умел воевать. Всем, кто сделал военную карьеру не на доносах, а ценой собственной крови.

В том же НКВД в последние годы появился новый тип людей с незапоминающимися лицами и такими же пустыми глазами, как у этого коридорного вертухая.

Немецкие самолеты уже бомбили советские города, пограничные заставы обливались кровью, ожидая, что с минуты на минуту подойдет на помощь могучая Красная армия. Танковые клинья генерала Гудериана в клочья рвали оборону войск, пылали села и города, а бывший капитан госбезопасности Алексей Костенко все шагал и шагал по своей камере, вспоминая и пересматривая всю свою жизнь.

В июле 1941 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к 25 годам исправительно-трудовых лагерей, с конфискацией имущества. В этом же месяце его этапировали в один из лагерей республики Коми. Воюющей стране не хватало леса, угля, нефти, золота. Все это должны были добыть вчерашние военные, профессиональные разведчики, дипломаты, партийные и хозяйственные работники. Советская власть уравнила их в правах с раскулаченными крестьянами, бывшими меньшевиками и эсерами, бандитами и налетчиками.

Алексей ничего не знал о судьбе своей семьи. Жена с сыном просто исчезли из его жизни, и он гнал от себя мысли, что они повторили его судьбу, судьбу изменника Родины.

* * *

Командир 6-го кавалерийского корпуса Иван Семенович Никитин при выходе из окружения был ранен и в бессознательном состоянии захвачен передовыми немецкими частями. Очнувшись, в сумеречном свете керосиновой лампы он увидел побеленные стены, кровати.

– Что это?.. Где я?.. В госпитале? Значит, у своих?..

Было жарко. В печи потрескивали сухие дрова.

На соседней койке метался раненый. Почему нет врача? Где медсестра?

Никитин сделал попытку встать, но ноги не слушались. Тогда он попробовал закричать, позвать на помощь. Но в ответ услышал немецкую речь. И Никитин понял – он в плену. От отчаяния сжалось сердце, и он заскрипел зубами, бессильный что-либо изменить.

К нему подошел врач в белом халате. Наклонился, взял за руку, нащупывая пульс. Блеснула золотая оправа очков.

– Вас волен зи?

Не получив ответа, врач вышел из комнаты. Скрипнула дверь. Почти тотчас раздался стук кованых сапог и к койке генерала подошли два офицера. На плечах блеснули серебром офицерские погоны.

Офицеры остановились. Один из них с погонами гауптмана наклонился к кровати и некоторое время смотрел в лицо Никитину. Затем сказал несколько фраз по-немецки. Второй офицер вытянулся и выпалил скороговоркой по-русски.

– Мы есть представители германского командования. Из ваших документов следует, что вы есть командир 6-го кавалерийского корпуса генерал Никитин. Вы готовы подтвердить это?

Слова доносились до Ивана Семеновича, как сквозь вату.

– Да... Подтверждаю, – тихо проговорил он. – Я генерал-майор Никитин.

– Вас будут лечить немецкие врачи. Кормить. Заботиться о вас. Когда вы пойдете на поправку, мы вас навестим. Ауфидерзеен.

После того как генерал-майор Никитин встал на ноги, к нему вновь приехали немецкие офицеры. На этот раз один из них был с погонами оберста, немецкого полковника. Спро-

вождавший полковника офицер остался во дворе, а он сам присел на принесенный санитаром стул. Потирая ладони, сказал, доверительно наклонившись к Никитину:

– Ну-с, господин генерал. Как ваше самочувствие?

Генерал открыл глаза. Приподнялся на локте.

– Хорошо, уже можете расстрелять.

– Ну что вы! В этом пока нет необходимости.

– А вы хорошо говорите по-русски, господин полковник.

– Это неудивительно, господин генерал. В свои молодые годы я служил в русской императорской армии. А сейчас предлагаю вам службу в германском вермахте.

– Это невозможно, и я не могу принять ваше предложение, – взвешивая слова, ответил Никитин. – Я генерал Красной армии.

– В мире нет ничего невозможного. Ваш маршал Буденный когда-то сказал, что лучше быть маршалом в Красной армии, чем офицером в Белой. Как знать! Может быть, вы тоже станете фельдмаршалом в русской армии.

– Нет, – мотнул головой Никитин.

Немецкий полковник смотрел на него долго и сочувственно. В его глазах отражался русский генерал, койка с серым солдатским одеялом, кружка с водой, стоящая на табурете.

У Никитина зазвенело в голове от напряженного мучительного ожидания. Показалось, что сейчас немец скажет или сделает что-то страшное, подлое. И генерал Никитин дождался. Полковник бросил на грудь Никитина стопку фотографий. На них был он сам, генерал Никитин в немецком мундире. В окружении офицеров вермахта и красивых улыбающихся женщин.

– А-а... – выдохнул из себя Никитин и сел на кровати.

Левая рука, напрягая синие жилы, вцепилась в железо койки, а правая метнула фотографии в лицо полковнику. Держась за дужку кровати, Никитин с трудом поднялся, встал, лицо его стало бледным. Ноги дрожали, глаза побелели.

– Во-оооон! – иступленно выдохнул он. – Генерал Никитин не предатель!

Его голос срывался, дрожал.

– Ах так?! Так? – бормотал сконфуженный полковник, пятясь спиной к двери. – Это вы напрасно! Напрасно!

Генерал Никитин не выдержал напряжения. Его ноги подкосились и он упал на пол.

– Суки-ииии! Твари-ииии! – хрипло мычал Никитин. Он упирался руками в пол, чтобы подняться, но ослабевшие руки подламывались. Хрипя, он кое-как забрался на койку и сидел на ней, дрожащий и страшный.

Через несколько дней генерал был отправлен в концентрационный лагерь Хаммельбург, где на все новые предложения о сотрудничестве ответил отказом.

6 января 1942 года его вывезли из лагеря и вскоре казнили в одной из тюрем гестапо.

Но уже мертвый, генерал-майор Никитин 23 октября 1942 года был заочно осужден советским военным трибуналом за измену Родине и приговорен к расстрелу.

* * *

436-й полк 155-й стрелковой дивизии был сильно потрепан в бою и отходил на восток. Отступал грамотно, отчаянно сопротивляясь и сохраняя боевой порядок. Остались позади отступающих бойцов стоящее среди полей старинное село с русским именем Погост и кирпичные стены старой сельской церквушки. Усталый комполка оглянулся назад. Сверкнул крест на трехъярусной колокольне, и неизвестно почему невольно потянулась рука неверующего майора, чтобы перекреститься.

Командир спохватился и, чертыхнувшись, крикнул:

– Ну-ка, ну-ка, ребята. Давай живей. А то насыпят нам фрицы на хвост соли.

3 августа 1941 года один из батальонов, уже больше похожий на роту, зарылся в землю у села Сурож. Батальон остался прикрывать отход полка. Вместе с ними остался командир полка.

Стояла утренняя прозрачная тишина. Бледное небо слабо розовело на востоке, и казалось, что за этой полоской кончается жизнь. Белый утренний туман легкими волнами струился над росистой травой поля, перекопанного солдатскими лопатами и перепоясанного траншеями, цепляясь за верхушки деревьев, стволы и лафеты орудий. Брустверы окопов, блиндажи. Рядом лес. В недалекой деревне горланили петухи. Из печных труб вился редкий дымок, хозяйки топили печи, пекли хлеб. Во влажном, холодном воздухе повисла тревога.

Лежа грудью на бруствере окопа, майор Кононов не отрывал глаз от окуляров бинокля, рассуждая про себя:

– Соседних частей рядом нет. До немецких позиций километров десять. Пойдут на нас они, скорее всего, во-ооон через ту балочку. И сколько мы продержимся? А главное, во имя чего?

Командира 436-го стрелкового полка никто не мог обвинить в трусости. Он прошел через кровь сабельных атак и жестокость рукопашной. Ему приходилось бросать своих бойцов против восставших тамбовских крестьян. Поднимать батальон и вести его на финские пулеметы. Но сейчас Кононов хорошо понимал, что это конец. Через несколько часов пойдут немецкие танки, подтянется артиллерия. Немецкие пушки и минометы перепашут жидкую линию обороны, а танки проутюжат ее своими гусеницами. Если удастся выжить, тогда окружение. Если повезет, тогда удастся выйти в расположение своих войск. Потом обязательная проверка в Особом отделе, допросы и вопрос, почему оказался в окружении? Рано или поздно всплывет настоящая жизнь майора Коконова, которую он тщательно скрывал от всех. Никто из сослуживцев даже не догадывался о том, что коммунист Иван Кононов ненавидит советскую власть. Ненавидит люто, истово, до умопомрачения. Почему?.. Ведь советская власть дала ему все – образование, уважение подчиненных, наградила орденом. И это была самая большая тайна, которую майор Кононов скрывал от всех, от командования, сослуживцев, немногих друзей, даже от жены.

Он родился в казачьей семье, в которой никогда не было того, что называется богатством, и в то же время его близкие не знали бедности. Отец, казачий вахмистр Никита Кононов, достатка и уважения добился своим трудом и казачьей доблестью.

В памяти Ивана Коконова словно фотографии навсегда сохранились картины детства. Пулеметные очереди за околицей станицы. Конский топот, ржание, выстрелы. Черные столбы дыма. Один из всадников, чернявый в кожаной куртке, соскочил с коня и, гремя шашкой, вбежал в хату. Заслышав выстрелы, мама затолкала Ванятку за печь. Он скрутился в клубок, затих в углу. Над станицей слышался крик, женский плач. Незнакомые солдаты в папахах и фуражках с красными звездами тащили из дворов мешки с зерном, вещи, одежду. Незнакомец рванул занавеску на себя и прищутив глаза долго смотрел на Ванятку. Потом перевел свой страшный взгляд на его мать и, стиснув до скрежета зубы, рванул на ней ворот платья. За окном послышалась пулеметная очередь. Нестройно и сухо защелкали выстрелы. Страшный человек выматерился и, придерживая рукой шашку, побежал во двор. Ванятка подбежал к плачущей матери и увидел через стекло, как черный человек выводит со двора лошадь.

Отряд полковника Назарова выбил из станицы красных и погнал их в сторону Дона.

После того как прогнали красных, старики на подводах привезли тела порубленных казаков. На первой телеге широко раскинув руки лежал босой человек. Его голова свисала через край подводы, деревянно подпрыгивала на ухабах. Запекшаяся кровь застыла на лице черной коркой.

Онемев, Ваня молча смотрел на своего отца, изуродованного сабельными ударами: отрубленная рука, оскаленные зубы, полуразрубленная щека. На заплывшем кровью лице сидели жирные синие мухи.

По улицам станицы везли и везли подводы с телами казаков. Трупы были окровавленные, разрубленные словно свиные туши. В воздухе как на бойне висел запах крови и парного мяса.

Мама умерла рано, от сыпняка, почти сразу же после гибели отца Ванятки.

Старшие братья сгинули в лихолетье Гражданской войны, и остался Ванятка один.

И наверное пропал бы, если бы не советская власть и не Красная армия.

* * *

Ранним сентябрьским утром 1941 года в ожидании немецкой атаки Иван Кононов принял главное решение в своей жизни. Он вызвал к себе командира пулеметного взвода Николая Дьякова, с которым служил и дружил еще с финской войны. Дьяков отодвинул шуршащий полог плащ-палатки и боком пролез в блиндаж. Свет из маленького окошка едва проникал в тесное пространство помещения. В углах блиндажа стоял полумрак, и лишь посередине он рассеивался светом керосиновой лампы. В углу остывала печка буржуйка, изготовленная из молочного бидона, и от нее тянуло теплом и домашним уютом. На бревенчатых стенах выступили капельки смолы. Посередине блиндажа стоял вкопанный крепкий стол, на котором лежала разложенная карта. Рядом со столом, в накинута на плечи шинели сидел майор Кононов. Из-под воротника шинели – петлицы с рубиновыми шпалами.

Командир полка доверял Николаю. Но на всякий случай командирский ТТ с патроном в стволе лежал на столе под картой. Иван Никитич спросил глухим голосом:

– Родной, ты веришь своему командиру?

– Да...

Кононов зачастую был груб, мог обложить матом. Но при всем при этом его любили, считали своим. Майор Кононов умел расположить к себе людей.

«Война для командира – вот главная военная академия», – любил говорить он.

Ловкий и ладно скроенный, всегда в подогнанном обмундировании, он служил образцом для своих подчиненных. В полку было много кадровых командиров, строевиков до мозга костей, но такой выправки, такого строевого лоска, как у него, достичь мог не каждый. Военную службу он любил, служил охотно и добросовестно. Невысокий, ловкий. Отчаянный матерщинник. Подчиненных жалел и снисходительно закрывал глаза на небольшие проступки. Мог похвалить или дать подзатыльник. Но все знали, что может и пристрелить. Ходили слухи, что на финской он самолично пристрелил струсившего командира взвода. Его боялись, но им и гордились. Высшей похвалой и поощрением для каждого был глоток водки из его командирской фляжки. Командиры и красноармейцы полка называли себя – кононовцами.

– Ну что, славный мой? Пойдешь со мной туда, куда пойду я?

Славный мой – это присказка. И если суровый, жесткий комполка говорил так, все понимали, что тем самым он переходит со служебного тона на товарищеский. Так было и сейчас.

– Так точно. Пойду.

Замолчали. Огонек лампы, стоявшей на сосновом чурбачке, едва не задохнулся от жара и отсутствия кислорода, задрожал, как крылышки у мотылька. Но потом вдруг успокоился и засветил ровно, разливая тусклый трепетный свет вокруг себя. Однако в землянке все равно было глухо и сумеречно. Было слышно, как потрескивают угольки в остывающей печи. Наступил критический момент. Кононов решился. После недолгой паузы он сказал:

– Я не люблю советскую власть и никогда не любил. За что ее любить? За наших казенных отцов? За голод? За постоянный страх, что завтра тебя расстреляют? За то, что мы отступаем? Да и ты ее не любишь. Я это знаю точно. В общем, я решил, Коля. Я ухажу к немцам.

Кононов замолчал, испытующе смотря в лицо своему ротному.

– Большая часть командиров и бойцов идет со мной, они верят мне. Перейдя к немцам с оружием, мы получим возможность отплатить Сталину за все наши беды.

– Вы уже всем сказали?

– Нет. Только тем, кому доверяю.

– Рисуем, Иван Никитич. В нашей армии в последние годы мало можно кому верить...

– Один конец, Николай. Что так смерть за спиной, что этак. А в нашем случае, может быть, еще проживем и повоюем. Поэтому ставлю тебе задачу. Сейчас ты бежишь к немцам и сообщаем их командованию, что командир 436-го полка майор Кононов вместе с полком хочет перейти на их сторону, чтобы вместе воевать против Советов. Только так... воевать против Сталина. Запомни. Все. Иди, родной. Лети пулей! Туда и назад!

Дьяков ушел.

Кононов вызвал к себе командиров. Первыми пришли командиры рот – рыжий и молодой уже Зуев, болезненно кутающийся в плащ-палатку Нефедов, в лихо сбитой на затылок пилотке старший лейтенант Мудров. Ротные козырнули. Зуев раздраженно-небрежно, всем своим видом показывающий, не до козыряний сейчас, война. Нефедов, устало-болезненно, полусогнутой ладонью вперед, Мудров – с особым командирским шиком – выбрасыванием пальцев кулака у края пилотки с последними словами скороговорки-доклада.

– Где командиры взводов?

– Двигутся следом, товарищ командир. С комиссаром.

Отвечает Мудров. Голос у него бодрый, веселый. Совсем не заметно, что он боится или переживает по поводу возможного окружения.

Зашуршал полог плащ-палатки, прикрывающей вход в блиндаж. Спустились командиры стрелковых взводов, взвода связи, помкомвзвода пулеметного взвода, уполномоченный особого отдела сержант госбезопасности Костенко, батальонный комиссар Панченко.

Кононов встал:

– Ну что, мои верные соколики?! Я не хочу от вас ничего скрывать, поэтому скажу честно. Наше дело – дрянь. Через пару часов на нас пойдут немецкие танки. Я смерти не боюсь, видел ее уже много раз. Но и умирать за Сталина тоже не хочу. Не хочу губить и ваши жизни за интересы большевиков и их мировую революцию.

Кононов говорил спокойно, не торопясь, взвешивая каждое слово. Чувствовалось, что он волнуется, но старается не показать волнения.

– Родные мои, настал час решительных действий! Я перехожу на сторону немцев, но не потому что трусил, а для того, чтобы вместе с ними воевать за уничтожение большевистской власти и возрождение нашей Родины. Я уже сообщил об этом немецкому командованию, и они дали согласие на наш переход.

Кононов блефовал, Николай Дьяков еще не вернулся, но люди не должны были об этом знать.

Командиры молчали. Слишком неожиданны были слова Кононова.

– Всем все понятно?

Никто не отвечал.

– Кто хочет остаться, неволить не буду. Но не забывайте, что мы в котле. Помощи ждать неоткуда.

– Не дури, майор, – рванулся к нему батальонный комиссар, правой рукой лапая себя за портупею, пытаясь нащупать кобуру пистолета. – Товарищи, это враг...

Майор Кононов побледнел. Его рука потянулась к карте на столе.

Мудров и Зинченко навалились на Панченко, вырвали из кобуры ТТ, повалили на пол. Все трое тяжело дышали, командиры держали Панченко за руки.

– Ну и сука же ты, Панченко! – почти ласково укорил Кононов. – Застрелить меня захотел? За что? За измену? Во вредительстве обвиняешь? – словно взорвавшись, вскочил, подбежал к Панченко. – А как ты на командиров доносы строчил? Забыл?

Кононов вытер пот со лба. Спросил:

– Кто еще? – Все молчали.

– Кто со мной?.. Встаньте...

Командиры медленно поднялись.

– Куда ты, туда и мы, командир...

Костенко растерянно спросил:

– А мне что делать?

– Не ссы, тебя запишем как интенданта... А сейчас командиры пойдут к своим подразделениям. Стройте батальон и приготовьтесь к сдаче оружия. Комиссара отпустить. Пусть уходит и живет. Если выживет.

Командиры рот и взводов вышли.

Над позициями стояла тишина. Такая хрупкая и звонкая, что война и предстоящая смерть казались чем-то нереальным.

Рядовые бойцы полка ожидали своей участи. Их построили в шеренги. Весь личный состав. Они еще ничего не знали, но вид растерянных командиров не сулил ничего хорошего.

Раздалась команда – смирно!

Комполка Кононов вышел перед строем.

– Товарищи бойцы и командиры, – прокричал он. – Мы с вами прошли через многое! И я всегда был для вас настоящим командиром, батькой. Вы знали, что я никогда не предаю вас, и был уверен в том, что вы не предадите мне. Я верил вам, а вы верили и верите мне. Поэтому приказываю сейчас всем бойцам положить оружие в 3–4 метрах от бруствера, а самим ждать в окопах приказа командиров.

Гулкий выстрел разорвал вечернюю тишину – в своем блиндаже застрелился комиссар полка. Дмитрий Панченко был человеком идейным. Мог пустить пулю в лоб трусившему бойцу или командиру. Как оказалось, смог и себе. Пережить предательство всего полка и собственную трусость не сумел. Это было выше его сил.

Переждав эхо выстрела, Кононов скомандовал:

– Вольно-оооо!

Вместе с ним осталось несколько командиров. Потянулось ожидание, тяжелое, как перед боем. Все были напряжены. У каждого в голове была одна и та же мысль: «Что теперь будет со всеми?»

Кононов, взяв в руки бинокль, выполз на бруствер. Широко расставив локти и не отрывая от глаз бинокль, крутил окуляры – сначала в одну, а затем и в другую сторону, отыскивая ползущую фигуру Дьякова.

Огорченно махнув рукой и цепляя стены узкой траншеи лапами шинели, Кононов сполз в траншею и быстро пошел к блиндажу. У входа в блиндаж его ждал ординарец. На его вопросительный взгляд Кононов приказал:

– Ты, Василий, посматривай по сторонам. Как только заметишь Дьякова, немедленно доложить мне.

Медленно тянулись минуты, мучительные, как боль. Сидя у сырого, из неошкуренной ели косяка двери, Кононов поглядывал в траншею.

Наконец через полчаса прибежал вспотевший ординарец.

– Ползеть... ползеть, товарищ комполка.

Обрушивая рыхлые стенки траншеи, Николай Дьяков свалился в окоп. Срывающимся от волнения голосом доложил:

– В лесу вас ждут немецкие офицеры.

На опушке леса стояли три грузовых и одна легковая машины. Кругом был сосновый бор с деревьями в два обхвата. За ним болото. В кустах колючая проволока, вкопанные в землю рельсы.

Влажная земля пахла прелой листвой угасающего лета и грибницей. Коротко простучал где-то вдали дятел. Плавно полетел к земле желтый березовый листок.

Тусклые луча солнца пробивались сквозь зелень сосновых иголок. Вспыхивали и гасли на свету микроскопические пылинки. Шустрая белка, привстав на задние лапы, настороженно наблюдала за движущимися людьми в военной форме. На мгновение замерла, потом молнией метнулась через тропинку и, мелькнув пушистым хвостом, взлетела по стволу дерева.

На дереве, дрожа и раскачиваясь от неуловимого движения ветра, висели сети паутины, усеянные точками мошкар.

«Точь-в-точь как мы, – подумал Кононов. – Кругом паутина, а мы в середине».

Рядом с машинами толпились немецкие солдаты. Они жизнерадостно хохотали, отмахиваясь ветками от полчищ комаров. Подошли немецкие офицеры. На Кононова потянуло запахом одеколона.

Группы сошлись, поздоровались. В немецкой группе было два капитана, три лейтенанта и переводчик.

Кононов заявил, что полк Красной армии переходит на их сторону совершенно добровольно, чтобы с оружием в руках воевать против Сталина. Сразу же поставил условие, чтобы с его подчиненными хорошо обращались.

Подали машины, и Кононова доставили в штаб танковой дивизии.

Командиры по его приказанию вернулись в траншеи, чтобы организовать сдачу.

Всем красноармейцам немцы выдали по буханке горохового хлеба и присоединили к колонне пленных, направлявшихся в лагерь для военнопленных.

* * *

Командующий охранными войсками тылового района группы армий «Центр» генерал пехоты Максимилиан фон Шенкендорф очень устал в этот день. Должностные обязанности командующего частями тыла всегда сложны и хлопотны, а здесь, в России, особенно.

Генерал склонился над бумагами. Теперь он читал рапорт командира 197-й пехотной дивизии о том, что на сторону немецких войск перешел 436-й стрелковый полк вместе со всем вооружением и командиром полка майором Кононовым. Генерал-лейтенант Герман Мейер-Рабинген докладывал, что доставленный в Смоленск Кононов заявил о добровольном переходе на сторону германской армии для того, чтобы сформировать вооруженный отряд и вступить в вооруженную борьбу против Сталина.

У русского майора был свой план: собрать полк из красноармейцев разбитых частей, военнопленных и казаков, питавших ненависть к советской власти. Сформировать из них регулярную боевую часть и выступить против Красной армии. Его убежденность завораживала и произвела на немцев столь сильное впечатление, что, несмотря на большое число командиров Красной армии, находящихся в плену и желающих сотрудничать с немецкими властями, он был отмечен как лицо, представляющее интерес для Рейха, и направлен в штаб 4-й полевой армии вермахта.

Генерал Шенкендорф расхаживал по своему кабинету в Смоленске и думал, думал. Внешне и внутренне он совсем не был похож на холодных и чопорных прусских военных с

моноклем в глазу. Максимилиан фон Шенкендорф скорее походил на коммерсанта средней руки – полноватой фигурой с небольшим брюшком, круглым лицом, маленькими пронизательными глазками. Только лишь красная полоса лампаса на его бриджах и значок Генштаба на мундире говорили о том, что перед тобой не коммивояжер, а один из самых образцовых генштабистов вермахта.

Шенкендорф был весьма неглупым человеком и прекрасно понимал, что война с СССР будет долгой и кровопролитной. Людские ресурсы Германии и ее союзников не безграничны. К тому же союзники – итальянцы, румыны, мадьяры – это... Шенкендорф усмехнулся своим мыслям – это не солдаты. Они мастера пить водку, воровать и тащить все, что попадется под руку, но в бою разбегаются при первом же выстреле.

Шенкендорф вспомнил, как один из командиров итальянских частей вместо того, чтобы окружить партизанскую базу и вступить в бой, отправился в совершенно другой район, где партизанами и не пахло. А потом, когда взбешенный Шенкендорф вызвал его к себе, итальянец долго и очень красноречиво врал, что не получил приказ. Одна из самых точных характеристик итальянского военного – «ловкач». Как там говорил Наполеон? «Если итальянцы заканчивают войну на той же стороне, что и начали, значит, они предали дважды».

Шенкендорф считал, что он хорошо знает русских. Его личный переводчик граф Сергей Сергеевич фон Пален говорил ему:

– У большинства русских, господин генерал, в крови заложена любовь к отеческим гробам, или чтобы вам было понятнее – любовь к родному пепелищу. Это вам только кажется, что русские воюют за идеи фюрера. Ничего подобного. Русские воюют за Россию. Они никогда не смирятся с гибелью своей страны и потому готовы заключить союз хоть с чертом, лишь бы победить большевиков.

Фон Шенкендорф не был национал-социалистом. Происхождение и воспитание предопределили его критическое отношение к теории относительно превосходства одной расы над другой.

Генерал Шенкендорф назначил русского графа Сергея Палена комендантом города Шклова. Но свои обязанности граф Пален исполнял недолго. Напившись, он в присутствии подчиненных сорвал со стены портрет Гитлера и плюнул ему на сапоги.

Природная немецкая воинственность, помноженная на приобретенное русское бунтарство, это действительно страшная гремучая смесь.

Наутро Шенкендорф вызвал Палена к себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.